



**Дружба
народов**

5/2022



В номере:

Детонация

Предваряя фрагмент своего романа, Сергей ДМИТРЕНКО подмечает: «События минувшего воспроизводятся в настоящем, предопределяя будущее, а философия воинства неизменна во времени и пространстве». Этими словами можно определить прозу номера, ее большую часть — если взять общо, — человеком, его соприкосновением с войной, его отношением «к» и существованием «на» войне. Владимир ЛИДСКИЙ, Тимур МАКСЮТОВ, Софья ОРЛОВА, Александр РЫБИН, Роман СЕНЧИН, Алекс ТАРН... У каждого **своя** война, свой опыт. И своё слово..

«Когда смыкаются начала»

Раздумья и воспоминания, подробности бытия на фоне истории страны наполняют стихи Сергея ПОПОВА: «Как демонстрации не фоткай,/ куранты бьют прямой наводкой./ Гуляют мама и отец/ в саду обманутого сердца». Поэтический цикл Веры ЗУБАРЕВОЙ «Тяжёлые сны» — о «мире, который на грани...» О счастье поздней любви и поворотах остросюжетной жизни — «мы всё видали/ выйдя из поэтов/ вся жизнь дрожит на кончике ножа» — лирика Инги КУЗНЕЦОВОЙ.

«Политический человек»

«Людям Пушкин нужен, даже если они сами этого в какой-то момент не понимают. Если будет жизнь, то будет и поэзия. Вот в том, что будет жизнь, я как-то не очень уверен...» Владимир ТОРЧИЛИН публикует записи разговоров с Наумом КОРЖАВИНЫМ. «У Коржавина были очень сильны эсхатологические настроения — Россия гибнет, Америка гибнет, мир катится в тартарары, цивилизации наступают конец. Мрачнее, чем у Шпенглера. ... Он считал, что наша цивилизация имеет явную тенденцию к самоуничтожению и для облегчения охоты на себя сама запирает себя всякого рода фетишами вроде политкорректности, которые парализуют ее сопротивляемость и разрушают ее устойчивость. Очень опасался, что цивилизация наша может быть разрушена нацизмом, к которому в отчаянии придет население и который будет принят, как было и с Гитлером, за спасителя цивилизации. Подобные разговоры происходили у нас очень часто».

Событие существования

«...Когда-то у меня был беглый, ленивый разговор на черноморском берегу, в Коктебеле, с одним критиком из Питера. Это был изящный седоватый джентльмен с бородкой, умеющий вести необязательные беседы. Между прочим он спросил меня о моем возрасте. Получив ответ, изумился: о чем же вы пишете? Он имел в виду отсутствие событий в протекающем мимо нас времени. Полагаю, опыт своего поколения, отчетливо шестидесятнического, он ставил высоко. У него была известная музыкальная фамилия, и я мог предположить, что и у него должен быть слух, он должен был слышать шум моря, подступающего к нам. Он упускал из виду грандиозное событие существования.» В основе «немецкой повести» Ильи ФАЛИКОВА «Косуля пробежала» — дневники, которые он вел в 2001 году в писательской резиденции — бывшем имении Генриха Бёлля под Кёльном. Нам, подхваченным вихрем сегодняшних событий, предстоит понять: «Мы еще не прожили первую четверть нового столетия, а минувшие годы уже стали историей».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2022.
Подписано в печать 27.04.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 1817/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПОПОВ. Срок хранения. <i>Стихи</i>	3
Сергей ДМИТРЕНКО. Без права на отсрочку. <i>Из романа «Колёса в воздухе»</i>	7
Вера ЗУБАРЕВА. Из цикла «Тяжёлые сны». <i>Стихи</i>	38
Владимир ЛИДСКИЙ. Мёртвые ничего не знают. <i>Рассказ</i>	41
Тимур МАКСЮТОВ. Уроды и красавчики. <i>Рассказ</i>	50
Софья ОРЛОВА. Трофейный эрос. <i>Рассказы</i>	64
Инга КУЗНЕЦОВА. Подушка опасности. <i>Стихи</i>	80
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Хель. <i>Повесть</i>	83
Роман СЕНЧИН. Детонация. <i>Рассказ</i>	110
Ефим ГАММЕР. День без Родины. <i>Рассказ о реальных событиях</i>	123
Александр РЫБИН. Два рассказа	129
Алекс ТАРН. Совпадение. <i>Рассказ</i>	140
Андрей ЛОМОВЦЕВ. Простые разговоры. <i>Рассказ</i>	147
Андрей ДМИТРИЕВ. Фотография еды. <i>Стихи</i>	152
Владимир ТРЕНИН. Прощение филина. <i>Рассказ</i>	156
Максим ВАСЮНОВ. Секта. <i>Рассказ</i>	166

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Илья ФАЛИКОВ. Косуля пробежала. <i>Немецкая повесть</i>	182
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Юлия ВОРОБЬЁВА. Ливан и ливанцы	242
---------------------------------------	-----

АРХИВ

Владимир ТОРЧИЛИН. «Если будет жизнь, то будет и поэзия». <i>О встречах и разговорах с Наумом Коржавиным</i>	252
---	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. И валеночки сваялю (<i>Время вышло. Современная русская антиутопия: рассказы; Мои девяностые. Пёстрая книга / Сост. Л.Аркус</i>)	266
---	-----

НАША ВКЛЕЙКА

Художники Карен АГАМЯН (Армения) и Масут ФАТКУЛИН (Узбекистан)

Summary	272
----------------------	------------

Сергей Попов

Срок хранения

* * *

Как демонстрации не фоткай,
куранты бьют прямой наводкой.
Гуляют мама и отец
в саду обманутого сердца.

Как в объектив не лезь из кожи,
но транспаранты не похожи
на шелестящие в саду
листья по божьему суду.

Как ни вымучивай улыбки,
а всё как будто бы улики
на плёнке запечатлены
во искупление вины.

В октябрьских зарослях и майских
теперь пасутся тени в масках
и наблюдают, как цветут
охапки счастья там и тут.

Но кровоцветие обмана,
как полусказочная манна,
не помещается в уме.
И дело, стало быть, к зиме.

И холод множит обороты,
но до родительской субботы
кровь ослепительнее льда
на почве мира и труда.

Попов Сергей Викторович — поэт, прозаик. Родился в 1962 году. Окончил (1985) Воронежский медицинский институт им. Н.Н.Бурденко; доктор медицинских наук, профессор. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы, среди них «Травы и тропы. Книга стихов» (М., 2020), «Крылья над крышами. Избранная проза» (Воронеж, 2021), «Вся печаль. Книга стихов» (М., 2021). Лауреат престижных литературных премий. Живёт в Воронеже.

* * *

До игры в молчанку подать рукой —
гам и гомон сходят кругом на нет.
QR-код один и никто другой
на любые страхи даёт ответ.

Языки прикусят и те, и те —
воздух тем и держится до поры...
Ничего печального в немоте —
таковы особенности игры.

Этот масочно-чумовой режим,
что возник в округе задолго до,
круговой дистанцией одержим
и победной пляскою на плато,

повтореньем рьяным с акцентом на
сбереженье крови вакциной слёз,
что другие грянули времена,
но никто не верит сему всерьёз.

Это злая шутка и добрый знак,
что слова сливаются в тишину
и в смешных разборках, и в страшных снах,
где артикуляция на кону.

Кислород кончается как на грех,
но везёт дышать через не могу
правотой, разделанной под орех,
где об исцелении ни гу-гу.

И шустрит по здешним деленьям ртуть
к рубежу молчания лишь вперёд...
И как только выговоришь «забудь»,
так забываемое и прёт.

* * *

РККА и следом ГОЭЛРО —
очередные буквы, буквы, бу...
И говорят, предание старо —
лишь мёртвый не видал его в гробу.

ОСОАВИАХИМ и Наркомпрос —
теперь лишь речевая чепуха...
Но букворяд столетье перерос
и в пепел не рассыпался пока.

И если ветер тешится навзрыд
по аббревиатурным берегам,
то пламя справедливости горит —
и шум воспламеняется, и гам.

НКВД, согласными храним,
негласных не чурается забот.
И столько горизонтов перед ним,
что все печали следуют в расход.

И попадают с прежней быстротой
слова под сокращения надёж —
финал эпохи, оттепель, застой,
ковидный сокрушительный падёж.

Из алфавита выделены на
здоровье и во славу без понтов
крутые и живые имена,
чтоб каждый был всегда на всё готов.

ВКП(б) гремит, как барабан,
ВСНХ вибрирует в груди,
покуда пролетарии всех стран
предполагают счастье впереди.

И распаляют песни о труде
тех, кто давал на музыку добро,
чтоб седина пылала в бороде
и метил бес в горячее ребро.

* * *

Духотою ночь полным-полна
по разломам августовской комы,
где литые звёзды и луна
непроглядной силою влекомы.

И на дне удушья видны
чёрные безбрежные глазницы,
будто у разломленной страны
никогда и не было границы.

Чумовая оптика жары
из-за недостатка кислорода
направляет свет в тартарары,
будто так задумала природа.

И морщины-трещины земли —
это вся её первооснова.
Расколи, а после раскали —
но не выжги яблока глазного.

Неподъёмный воздух разнеси
по созвездьям позднего забвенья,
чтобы на оптической оси
расцветали голые каменья.

* * *

Там зыбкий свет, и сизый дым, и горький смех.
И потолки четыре метра — чёрт-те что!
И бог забыт, и быт разделан под орех,
и тишина забавней цирка шапито.

Заштатный цирк, театр теней, потешный парк —
отметки призрачные в книжке трудовой...
И водосточных подземелий тяжкий пар —
в отчизне оттепель. И это не впервой.

И сигаретка в полчетвёртого утра.
И препирательство в постели о стихах
из непроглядного и манкого вчера,
по дури вызванного к жизни впопыхах.

Слова разбуженные хуже табака.
Октябрьский помнят витражи переворот.
Доходный дом хоть и повытерся слегка,
но постояльцев сто пудов переживёт.

На фильтре Marlboro помадная мазня
у эмигрантки из эпохи Art Nouveau...
«Подозреваю, что споткнёшься без меня —
на чёрной лестнице не видно ничего».

Да и в парадном ни черта не разглядишь —
лишь чертыхаться отбывающий силён.
И у подъезда историческая тишь
облагораживает мусорку и клён.

Вот-вот нагрянут цирковые времена,
и пуще прежнего забудутся стихи...
И станет вовсе сигарета не видна
в окне на третьем из-за всякой чепухи.

Вот потому и не пристало во дворе
с актёрской дурью оборачиваться вдруг,
как будто выигрыш даётся по игре,
как возвещал на репетиции худрук.

Сергей Дмитренко

Без права на отсрочку

Из романа «Колёса в воздухе»

Предуведомление

Это сочинение — об армии? Может быть. Тема его — армейская жизнь, нечто, имеющее отношение к Военно-воздушным силам середины семидесятых годов прошлого века. Тогда же, без всякой надежды на публикацию, я его в первом варианте и написал. А затем долго не открывал вовсе.

Затем, когда цензура была поставлена на подобающее ей место, рукопись перечитывалась от времени до времени, хотя было понятно, что теперь её превращение в книгу зависело лишь от меня самого и ни от кого более.

Но и к этому превращению я охладел. Думалось: кому интересно теперь вспоминать об ушедшей в исторические анекдоты армии исчезнувшего государства?

Лишь недавно понял: события минувшего прекрасно воспроизводятся в настоящем, предопределяя собою будущее. При том что философия армии, философия воинства неизменна во времени и пространстве. Я вспомнил рекомендации и предписания Дисциплинарного устава и, строго соблюдая режим дня, наконец-то освободил себя от затянувшегося романа с собственным романом, поставив последнюю точку. У искусства свои законы, своё пространство и время. Если верно, что оно *сближается с жизнью не в действительности, а в правде, коя есть различие добра и зла*, то со спокойным сердцем, чистой совестью и ясными глазами твёрдой рукою могу предложить свой опыт всем, кто сколько-нибудь им увлечётся.

Тем паче что, глубоко осознавая и выражая полное понимание необходимости наличия военной тайны и, следственно, соответствующей цензуры, автор этих строк и страниц предусмотрительно и собственноручно изменил и зашифровал названия всех населённых пунктов, топографические характеристики местностей, рельефов, ландшафтов, объектов гражданского и оборонного назначения, водоёмов и водостоков. Маскировке подверглись также воинские звания и должности, армейские и военно-

Дмитренко Сергей Фёдорович (1953) — прозаик, историк русской литературы. Служил в ВВС. Доцент Литературного института имени А.М.Горького. В соавторстве с филологом Натальей Борисенко под псевдонимом Наталья Кременчук опубликовал роман «Смерть на фуршете» — юмористический детектив о современной литературной жизни (2014). Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Юность», «Урал» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 11.

учётные специальности, рода войск и виды оружия, обценные выражения и ненормативная лексика. В неприкосновенности сохранён только масштаб цен, существовавших в те времена, когда официальный курс американского доллара составлял шестьдесят советских копеек за один вышеупомянутый.

Все мыслимые и двусмысленные совпадения, сходства и сближения как фактов, так и судеб, имён, отчеств, фамилий и послужных списков являются чистой случайностью и не могут рассматриваться в качестве основания для возбуждения гражданских исков и всех форм уголовного преследования.

И, наконец, все действующие лица и события в книге придуманы.

Д.С.

* * *

Стригли в подвале. Офицеры военкомата были с владельцами шевелюр вежливы и даже огорчались, когда появлялся призывник с голой макушкой. Таких, не церемонясь, отводили в актальный залчик. От уменьшительно-сниходительного наименования это помещение с низкими потолками, перестроенное, по всему, из ресторанный веранды (военкомат занимал здание, некогда, вкуне с садом-рестораном, именовавшееся «Гранд-отелем»), не мог избавить и огромный бюст Ленина под красной лентой развёрнутого по стене лозунга «55-летию ВЛКСМ — наша боевая вахта!». То ли серебряный, то ли алюминиевый Ленин занимал три четверти возвышения, которому назначили изображать сцену. В голову Ленина и утыкались взглядом прибывающие. Притаившуюся в его тени трибуну для ораторов, ветеранов и агитаторов высматривали не сразу.

Патлатых же призывников с прибаутками направляли к лестнице. А там — подвал, бывший склад-холодильник. А в подвале парикмахер — маленький худой армянин с золотыми зубами, холёными седыми усиками и в белом халате, на глазах становящемся несвежим среди осыпи волос всех длин и оттенков.

Подвальный циркульник работал быстро (впрочем, любой смог бы при таком наплыве народа научиться в два-три часа), — работал быстро, но небольшая очередь всё-таки была.

Стоя среди своих лохматых ровесников и будучи сам лохмат, Сергей Котофеев неторопливо размышлял, надо ли ему расставаться с шевелюрой.

Конечно, в глубине сердца теплилась неясная надежда на то, что по неожиданно открывшимся каким-то обстоятельствам его, Котофеева, всё же освободят от призыва, и та повестка, которую — снегом в мае — на его неостриженную голову обрушил накануне утром папахивающий свежевипитым военкоматский курьер не первой молодости и пролетарского вида, — эта повестка окажется лишь недоразумением, излишним вызовом, и его отпустят восвояси до осени, а к этому времени он слиняет в Москву и поступит, наконец, в университет...

Но он же, Котофеев, ещё учась в десятом классе, открыл, как ему казалось, немаловажный закон жизни, который назвал — используя, вслед за многими, одну из строчек комедии «Горе от ума», — законом «другой комнаты».

«Шёл в комнату — попал в другую». По этому закону человек, слишком рьяно стремящийся преодолеть обстоятельства и прикладывающий к этому усилия, всё равно не сможет перехитрить жизнь. Она, Жизнь, преспокойно его обставит, и вместо комнаты, понимай: места, куда он шёл, перенаправит в другое место ей, Жизни, удобное. Жизнь не рвётся давать человеку право выбора, и ему, человеку, проще всего

смиряться. Но, с другой стороны, если человек всё же захочет заявить Жизни о своей воле, он получит право на некоторое хитроумие: покорно принимать все условия предлагаемого Жизнью жребия, готовиться к нему — с тем, чтобы своим смирением в конце концов несколько Жизни надоест и понудить её на этот раз отвести жребий, человеку нежелательный.

По этому закону Котофееву следовало, вслед за прибытием по повестке в военкомат, идти дальше, то есть — остричься наголо. И тогда, глядишь, хоть и насильственно преображённым или, честнее сказать, обезображенным вернуться домой уже сегодня, а не через два, если не через все три года.

В конце концов Котофеев утвердился в своём решении предстать перед медкомиссией с сизой макушкой. Стрижка, если признать правоту некоторых медицинских теорий, лишь укрепляет волосы, а последний раз он расставался с ними лет пятнадцать назад, в дошкольные ещё годы, когда драка с соседом, кажется, Юрка его звали, вот почти и забыл уже, закончилась огромной ссадиной на голове и потребовалось выстригать...

— Следующий! — золотом улыбнулся парикмахер философствующему и вспоминающему Котофееву. И тот шагнул к стулу, окончательно успокоив себя тем, что и отсрочку получить у призывной комиссии он не сможет, не остригши свою отпущенную «под битлов» шевелюру.

Подставив голову под инструмент профессионала, Сергей вспоминал, как однажды, лет семь назад, решил постричься наголо его отец, начавший лысеть. Постричься, как задумывалось, для укрепления волос. А поскольку моды такой, чтобы стричься наголо, не было, и под ноль обрабатывали только бедолаг, попавших в вытрезвитель, отец Сергея, во избежание двусмысленностей — а преподавал он теоретическую механику в политехе, — предпринял некоторые шаги. Вначале, как сам об этом рассказывал, он, сидя на кафедре и попивая чай после лекции, спросил как бы невзначай заведующего, профессора Моршанова, давно ли ему приходилось стричься наголо.

Моршанов, обладавший благородными сединами невероятной для его шестидесяти с лишним лет густоты, вздрогнул от вопроса своего подчинённого. Но вздрогнул не потому, что был потрясён нахальством доцента Котофеева. И не потому, что — мог предположить Котофеев, видя этот вздрог, — мол, пострадал некогда, на заре туманной юности Моршанов от проявлений культа личности, и сняли ему в известном учреждении все волосы подчистую — хорошо, хоть голову оставили.

Нет, Моршанов вздрогнул, вспомнив то, о чём не ведал Котофеев-отец, но он, Моршанов, мог предположить, что он, Котофеев, что-то прознал. А именно: не так давно, на банкете в честь получения моршановским давним приятелем-хормейстером звания «заслуженный работник культуры» профессор перебрал, устремился за хористкой, которая показалась ему самой смазливой из присутствующих, да не один устремился, а с бутылкой, однако хористка вдруг как-то во время долгого провожания её в майском полумраке городского парка культуры и отдыха исчезла в туях, оставив Моршанова допивать в одиночку. Бутылку-то он, с тоски и окончательно заблудившись в тувых аллеях, допил. Допил, не совсем понимая, что делает. Допил и допил. Затем, идя напролом сквозь парковую растительность, вывалился к выходу. Ещё один рывок — к трамвайной остановке... но вместо посадки на трамвай Моршанов был подобран патрульной машиной милиции и без долгих разговоров доставлен в вытрезвитель.

Здесь его, по принятым в этом заведении санитарным нормам, собрались было не только вымыть в холодном душе, но следом и остричь. Однако вид стригальной машины привёл несчастного в чувство.

Вера Зубарева

Из цикла «Тяжёлые сны»

1

Словно кто-то к родине отвык.

С.Есенин

Спит ребёнок в чугунной ванне.
Пули свистят в ранней рани,
В рваной ране
Мира, который на грани.

Время горевать Ярославне.

Вот она
Тоскует в Путивле.
Между нею и суженым
Стену воздвигли,
Чтобы к родине бывшей отвыкли.

Скачет Игорь к своей Ярославне.
Змей Горыныч множится головами.
Спит ребёнок в чугунной ванне.

Снится ему адская домна.
Клятва врага вероломна.
Чудище обло, озорно, огромно,
Стозевно и лаяй.

Лают сирены
С адской арены,
Лают служители Мельпомены
С передовиц мировой авансцены,
Водят свой каравай.

Под них подстраивается массовка.
Они словами жонглируют ловко.
Время пришло. Выбирай!

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, литературовед, Ph. D. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других литературных премий. Живёт в Филадельфии (США).

2

Во второй год царствования Навуходоносора
снились Навуходоносору сны <...>

Даниил отвечал царю и сказал: <...> И во дни
тех царств Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится <...>

(Дан. 2: 1, 27, 44)

Ставят на Рейх.
Мир — ипподром.
Ходишь по струнке.
Славишь погром.
Скачешь под дьявольский метроном.
Это
Стокгольмский
Синдром.

Тьма беспросветная вышла в дозор.
Что было свято, отныне — позор.
Стонет
Навуходоносор.

Снится ему гигант-истукан,
Завоеватель, гроза всех стран.
Он простёрся за океан.

Тело его — разнородная смесь:
Золото, глина, железо и медь.
Глядишь, и обрушится весь.

Всё, что останется — поле могил.
Выстоять — больше не хватит сил.
Что там пророчит Даниил?

Стонет Навуходоносор во сне.
Плачет Ярославна в Путивле на стене.
Спит ребёнок на чугунном дне.

3

В Польше и Италии запретили Чайковского,
Шостаковича, Достоевского и Чехова.

(Из газет)

Снимает время фильм на Оскара.
Мелькают эпизоды разные.
По улицам ведут Чайковского,
У дирижёра руки связаны.

Всё громче лейтмотив нашествия,
Устроен самосуд в Милане —
Приговорили Достоевского
Без преступления к наказанию.
Они давно глаза мозолили.
На них аншлаги бесконечные.
В ГУЛАГе мировой истории
За то барак им обеспечили.
И дяди вани, и шелкунчики,
И даже маленькие лебеди
Предстанут как великомученики
В полуразрушенном наследии.
У помрачения — агония:
То мнятся мальчики кровавые,
То Ленинградская симфония
В большом концертном зале в Кракове.

4

Не полагайся на сильных мира сего — нет
в них спасения. Когда возвращаются они в землю
свою, исчезают все их помыслы.

Псалом 146

Мы все на прицеле
У конечной цели.
Но и стрелку не избежать конца.
И выход один лишь на самом деле —
Остаться, чего бы от тебя ни хотели,
Если колоколом, то на пределе,
Если глиной — то в руках Творца.

Владимир Лидский

Мёртвые ничего не знают

Рассказ

...разглядывая Хлыста, она видела полоску света на шее Хлыста, то был свет луны, проникавший сквозь щель в стенке пакгауза, и она подумала: точно по линии! — Хлыст лежал навзничь и мирно храпел, никого не боясь; она ухмыльнулась, снимая с пояса финку, первый её боевой трофей, доставшийся после убийства Штыря, — настоящий зоновский нож с наборной ручкой и латунной гардой, нож, знавший многое, многих, нож, сидевший в кишках ментов, вертухаев, сук и лагерных стукачей: примерившись, она нанесла резкий удар с движением вправо и отворила горло Хлыста, — кровь брызнула ей в лицо, ослепив, и с утробным бульканьем сошла вниз: Хлыст судорожно вздохнул и — замер... она предвкушала этот момент, потому что он нравился ей своей предсказуемостью, своим заранее определённым итогом, и она уж загодя мечтала о нём: то было предчувствие власти и сама власть, сходящая с такой же неотвратимостью, с какой сходит на всякого человека смерть, её потому и прозвали потом — Машка-смерть, несмотря на её красоту, нежный образ и почти подростковую свежесть; статью она уродилась в мать, полячку из Кракова, а отец её был коренной, лидский литвин, и общее католичество дало им возможность без препон сочетаться браком, когда отец пришёл после ранения на фронте в Лиду и более не рыпался, решив уж осесть в своём доме по самую смерть, тем более что дом у него стоял добротный да ещё и земличка была под бульбу с цибулей; Машка родилась в девятнадцатом, в уже польской Лиде, и родным языком её стал польский; мать любила её и берегла, отец, против того, был суров и жесток с дочкой, наказывал за всякую мелочь, вот она и искала мужской любви в стороне, пятнадцати лет став женщиной, а потом — любовницей пана Перельштейна, богатого лидского золотых дел мастера, — пан Мендель любил её, баловал, но скрывал от мира, ибо синагога не любит же иных вольностей, кроме вольностей жертвоприношений, но Машка недолго была в его руках, ей хотелось ещё в другие руки, и пошла она по рукам: в рабочих была, в торговых

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии «ДН». Живёт в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

была, в солдатских была, в руках известного бандита Витольдика, и даже владелиц пивоваренного завода Мейлах Пупко, примерный семьянин и солидный домоправитель, не устоял пред её красотой; отец колотил Машку, но сучью суть выбить из неё не мог, она же отца ненавидела и всё искала способ сквитаться, но доука любви мешала, собирая силы, и едва-едва одолела Машка гимназию, ибо нет учёбы, коли в голове амур; батюшка увещевал её, сулил наказание от чёрта, блазил презентами, коли отойдёт от любви, — ничто не помогало, и тогда он сказал: дом, как помру, отойдёт уж младшей, а тебе, курва, на роду писано таскаться по чужим постелям, так в них же и подохнешь! проклял её, как траченную вещь, а она и вправду не была цела: два раза уже хлестала ведьмины отвары, стготовленные столетней Свидарихой, жившей за Каменкой на границе с пушей, — сваренную с болотной мятой пижму, которая крутила душу, — Свидариху обходили стороной; то были почти мощи, обтянутые кожей, и, если она являлась в базарный день на торг, всё торжище начинало трепетать и в ужасе молиться своим святым до тех пор, пока ведьма не купит себе чего и не уберётся; Машка, впрочем, не боялась ведьмы, придёт по надобе своей, а старуха знает: даст горького отвару да скажет испить, Машке мало отвару, просит заклясть, ведьма её разденет да бузинными ветками отхлещет, — так Машка куражилась, отводя беду, а может, и наоборот — кликая её, вот раз Свидариха дала ей опять пижмы с мятой, добавив в зелье беладонны и конопляного листа, да говорит: деточка, усни! Машка и уснула, проспав трое суток кряду, а проснувшись, пошла домой, — в доме сидел отец, потел перед самоваром, мать полола огород, а Иванка, сестра, была в гимназии; отец глянул на Машку и говорит: пришла, сучка! а Машка ему: не про вас я, папаша, пришла, пени ваши, научения и морали терпеть не стану, а лучше пригласите к чаю! нет, сучка, говорит отец, послушаешь ещё меня! — стал перед нею на колени, обнял руками и ткнулся потным лицом в дочернее лоно; Машка вздрогнула, а отец полной грудью вдохнул дочь и сказал: чую, сучка, тебя, чую волю твою... Машка обмерла и положила ладони на главу отца... отец прижался теснее, закрыл глаза, и тут хлынула из Машки чёрная кровь — в лицо отцу, Машка вскрикнула в ужасе, забилась и... проснулась! тихо, тихо, деточка, сказала Свидариха, положив руку на её липкий лоб, — из чего хлопочешь? — Машка встала и пошла домой, а там — отец, — чай из самовара пьёт, глянул на неё и говорит: пришла, сучка! взял ремень и ну охаживать дочуру, — для чего шалишь? — Машка выла под ремнём, скользила, выскальзывала и, оскальзываясь на крови, крутилась, выпрастывалась из его руки, но отец, ловкач, проныра, хват, ловил, настигая, и бил, стараясь угодить в лицо, вот Машка и попалась: отец махнул ремнём и попал пряжкой доче в лоб, Машка взвыла и... проснулась, в другой раз очнувшись под ладонью ведьмы; ведьма смотрела на неё и бормотала: тихо, тихо, деточка, не ровён час помрёшь, ты, мол, досаду свою с кручиной прибири да ступай домой; Машка встала и пошла домой, а там — отец, как и в прежнем мороке чай гоняет, потный, в распахнутой рубашке, — волосы на груди слипшиеся, на лбу слипшиеся, глаза мутные и — весь надувшийся, как бычий пузырь, и, набычившись, разъярённым быком глядит на дочь: пришла, сучка! так будешь нынче наказана за бл...ство, — распустил ремень, — Машка думала — сейчас получит ремнём, а отец — нет, распустил ремень, скинул холщовые штаны да Машку за волосы прибрал: всё, говорит, попалась, будешь теперь делать с отцом что с паном ювелиром делала, уж я знаю что! и принудил её ко всем мерзостям, которые за ней прежде доблестями слыли... так Машка папашину науку копила, копила да и сдала его в сороковом Советам, — землевладелец, дескать, делец польской буржуазии и эксплуататор народа, — вот папашу и отправили за осадниками и чиновниками учреждений прямиком в Сибирь, где он и сгинул

бесследно через пару лет, а Машка, папашину духовную грамотку почистив, наследовала дом и оставила с носом законную наследницу, младшую сестру; мать Машка схоронила по аресте отца, через недели две от дня ареста, а сестру послала в Минск учёбы ради, сама же год спустя вышла замуж за чужого солдата, воевавшего некогда в Тифозном дивизионе под началом Ивана Почухаева, — солдат, носивший римское имя Альвиан, был уже в летах, имел раны и роковое увечье головы, пробитой двадцать лет назад у местечка Комзел дерзкой шашкой какого-то поляка; явился Альвиан из Кобрина, где делал неизвестную работу при Четвёртой армии, — прижившись в Лиде, стал агитатором на выборах в местные Советы, работал в Слониме, Волковыске, Сморгони, а потом и сам ненавязчиво втёрся в Лидский городской совет, — человеком Альвиан был бодрым, сотрудничал с милицией, прокуратурой, с местным секретным учреждением и скоро стал в Лиде такой заметной фигурой, какой, очевидно, не следовало быть, если иметь в виду опасность яркого существования в те годы вообще, — зная языки, везде чувствовал он себя рыбою в воде и кормился с языков, — его голова вмещала русский, белорусский, польский и — немецкий, взятый им на Западном фронте в пятнадцатом году; Машку он любил, баловал, тетёшкал, — она была манкая, соблазнительная и такая *самка-самка*, — глядя на неё порой, Альвиан сжимался, как зверь, готовый налететь на жертву, сбирался в комок, чтоб атаковать, но вдруг понимал, что боя не надо, ему и без боя дадут всё что ни попросит, и тогда он брал Машку по праву господина, властителя и повелителя: если она была ему нужна, он подходил, брал её за горло и ставил на колени, — полного подчинения хотел он, и только такой человек мог держать Машку в руках, — он и держал, и был затейник: когда любовь казалась ему монотонной, пресной, без искры, доставал припрятанный после польской войны револьвер и приставлял к виску жены, — Машка заводилась и вела себя как течная сука, но он хотел детей, а детей её ещё в прошлой жизни извела Свидариха, и Машка не могла зачать; вот Альвиан ей пенял: трогаю тебя — живая, но мёртвая! тёплая, но холодная! нежная, но грубая... как труп! ни жива ни мертва, ни то ни сё, ни шатко ни валко, видимо-невидимо, долго ли коротко ли... нежить! можешь мне родить детей? — нет, шептала Машка и, проводив мужа на работу, бежала к Свидарихе: хочу детей, верни детей! — как же, деточка, из мёртвого живое соделать, спрашивала ведьма, ведь мёртвое не живёт, из него звёзды рождаются, — не знаю, говорила Машка, дай детей и вся недолга! — как? спрашивала Свидариха, — бузинный прут да пижма с мятой извели детей, ведь ты сама молила погибели младенцев! — а теперь надо! ныла Машка, дай детей! но ведьма не давала, и Машка шла домой, а там — муж, являвшийся всякий раз в гимнастёрке, запачканной кровью; Машка стирала гимнастёрку, и её мучило от запаха мертвечины, затхлого, густого, тошнотворного смрада смерти, но она крепилась и стирала, стирая пальцы и кожу с пальцев аж до костей и растирая на пятнах крови горчицу с солью, — кровь сходила, но Альвиан не был доволен: плохо постирала, ярился он, а потом, заводясь, припоминал ей всё и всех, — золотых дел мастера, солдат, купчишек, бандита Витольдика и Мейлаха Пупко, — были ж добрые люди в Лиде, ведь Лида — собрание чудесного люда, слюда, сквозь которую видны очертания чужих грехов, — нечётко, но явственно, и вот всё тайное в Лиде таким образом являлось миру, становилось явным; всю ночь муж её любил, а когда иссякал, — бил и, бия, восставал вновь, беря силу из её боли, — она кричала, — от страха и вкуса греха, и её сладострастие было горьким и жгучим, как кайенский перец; семнадцатого мая 1941-го муж ушёл на работу, а Машка кинулась к Свидарихе, — сил не было у Машки терпеть мужа, хотела Машка известить его, раз уж Свидариха детьми скупится; сбоку от двери был в её доме календарь, — выходя, Машка

Тимур Максюттов

Уроды и красавчики

Рассказ

Этот дом мне сразу не понравился: в крышу угодила бомба, и теперь дом лежал опрокинутым на спину трупом, обгоревшие стропила торчали обломками рёбер, царапали низкое злое небо; небо, способное только на гадость.

Чужие пикировщики с белыми крестами на изогнутых крыльях отбомбились и ушли, накрыв «Горожан» и ещё, кажется, «Синеглазок», оставив после себя пепел, перемешанный с пылью; нас не зацепило, потому что Дед велел забиться в щели и не вылезать, а услышанный им комариный писк превратился в рёв бомбёжки.

Когда Артём в очередной раз ворчал на меня, Дед обрывал: «Слушай Аську, у Аськи чуйка». Чёрт бы побрал эту мою чуйку: пулемёт в окне развороченного дома ожил в тот самый момент, когда я меняла позицию.

Вы слышали, как в полусотне метров грохочет МГ-34? Все пули из этого сраного пулемёта летят точно в тебя, все два десятка в секунду; я на рефлексе ушла с линии огня, кувыркнулась, угодив мордой в лужу, поползла за грудой обломков, обдирая коленки. Скукожилась за кучей щебня, выплёвывая мат пополам с жидкой грязью, размазывая вонючие потёки по щекам. Подтянула за ремень трёхлинейку, глянула...

— Грёбанный напололам.

В ухе зашипел приёмник:

— Ай-яй-яй, разве принцессы матерятся?

— Артём, заткнись.

— Что-то случилось, Ася? — это Дед.

Дед сразу почувствовал, мудрый он всё-таки. Не то что Артём, этому бы только поржать.

— Стучилось. Оптику разбила.

— Хреново. Сама как?

— Вроде целая.

Максютов Тимур Ясавеевич родился в Ленинграде в 1965 году. Вырос в Таллине. Окончил высшее военное училище (1986), служил в Забайкалье, на Урале, в Монголии. Капитан запаса. Публиковался в журналах «Дружба народов» и «Новый мир». Автор книг «Ограниченный контингент» (2013), «Офицерская баллада» (2016), «Спасти космонавта» и «Нашествие» (2017) и др. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

Подставилась. Артём замурлыкал:

— Вау, детка, это стыдоба, в двадцать четыре года — и всё ещё целая. Устроить тебе инициацию?

— Пенетрацию себе устрой револьвером в жопу.

— Да ты шалунья!

Дед рявкнул:

— Заткнулись оба! Контрольное время шесть минут. Ася, выйти сможешь?

Пулемётчик словно услышал и дал короткую по моей крохотной защитной куче: щёбёнка брызнула в стороны, я вскрикнула: камешек распорол щёку, хлынула кровь; Артём спросил:

— Зацепило?

— Есть немного. Влипла, не выбраться мне, на прицеле — как вошь на голой жопе.

Дед сказал:

— Не паникуй. Покумекаем, разрулим.

И переключился на прямой с Артёмом. Я легла на спину, положила на живот винтовку, нащупала развороченную планку: пуля оторвала прицел и оставила острые металлические заусенцы. Закрыла глаза: хотелось плакать от обиды и отчаяния, осталось пять минут, нет, уже меньше; как всегда невовремя, вывернулась из памяти оранжевая морда камаза и зарычала, приближаясь неумолимо, как смерть, закрывая грязным бампером небо...

Дед заговорил, когда слёзы уже перехватили горло, душили.

— Ася, какое окно, четвёртое?

— Третье. Третье слева.

— Слушай сюда. По свистку высунешься, пальнёшь и сразу обратно.

— Да он меня...

— Не ссы! Не успеет. Только стреляй точно, пусть он думает, что ты его единственная проблема. Соберись. Готова? Три секунды.

Выдохнуть. Сосредоточиться: во всём мире есть только третье слева окно, и ничего больше. Подтянуть колени, скукожиться, сжаться в пружину. Передёрнуть тугой затвор в четыре такта.

— Давай.

Распрямитесь, навести длинную неуклюжую трёхлинейку: вот оно, третье слева, чёрная пасть, дыра в ад; выстрел.

Падаю на мгновение раньше, чем ответная очередь разрывает воздух. И успеваю заметить краем глаза тёмный силуэт у стены: разворот плеч, бросок, таящее смерть чёрное яйцо летит прямо в амбразуру...

— Ба-бах!

Секунда тишины — мёртвой, звенящей. И вопль Деда:

— Пошли, пошли!

Вскакиваю, бегу, пятьдесят метров — как марафонская, секунды растягиваются медицинским жгутом; слева Артём, подпрыгивает и переваливается через разбитый подоконник внутрь жуткого дома; прямо передо мной в окне вырастает силуэт, я успеваю вскинуть винтовку и дёрнуть крючок — осечка! Забыла перезарядить, дура.

— Падай! — ревёт Дед.

Валюсь на щёбень, над моим затылком лупит короткая очередь: Дед с такого расстояния не промахивается.

Вскакиваю, несусь к окну; высоко, чёрт, запрыгиваю только со второй попытки;

внутри темно, вспышки выстрелов и густой немецкий лай, под подошвами — острые обломки и скользкие гильзы; вываливается здоровенный фриц, задирает автомат — бью стволом трёхлинейки в брюхо, звук такой, будто лопнул резиновый мяч; немец охает, оседает — добиваю сбоку прикладом в челюсть, летят брызги; перепрыгиваю через тушу, в соседнюю комнату — там скрежет и лязг, по полу, по кирпичной крошке катаются двое, кто — не разобрать, потом вижу серый мундир и блеск занесённого кинжала; перехватываю винтовку и бью со всей дури, как дубиной.

Вдруг наваливается тишина, только хрипло дышит Дед. Сползаю по стене, сажусь на корточки: сердце лупит в прутья грудной клетки перепуганной птицей.

Дед вытирает кровь с разбитой губы, ухмыляется.

— Вот хряк здоровый попался. Спасибо, Ася, вовремя ты.

— Не за что. Должок отдавала, тебе спасибо.

Дед прищуривается:

— Ага, счёт семнадцать — четыре, и всё ещё в мою пользу.

— Крохобор ты, Дед.

Артём возникает в дверном проёме:

— А мне должна столько, что и не считаешься никогда. Одна гранатка чего стоила. Заценила? Прямо в дырку попал. Да, я такой, детка. Чем отдавать будешь? Сразу предупреждаю: если натурой, то минет идёт за два...

— Иди ты. Подрочишь как обычно, — говорю я беззлобно.

Артём вглядывается, хмурится:

— У тебя лицо в крови.

Рвёт индпакет, прикладывает к щеке вату. Осторожно гладит: пальцы у него одновременно жёсткие и нежные.

«Динь-динь-дон!» — разлетается под потолком разбитого дома.

Таймер. Мы смогли.

Снова смогли.

— Йуху! Мы красавчики, мы — уроды! — вопит Артём.

* * *

...Солнце плещет горстями, солнечные зайчики скачут по лужам, орут воробьи; стучат каблучки праздничных кремовых туфель (я хотела белые, но мамочка проворчала, что белые *настоящая* женщина надевает дважды в жизни — к алтарю и в гроб), настроение супер, даже ЕГЭ по матише его не способен испортить; какие-то пацаны свистят со скамейки — не замечаю, гордо вскидываю голову, шагаю на «зебру»; визг тормозов, визг тётки с тротуара, оранжевая морда камаза закрывает собой небо и...

...И я задыхаюсь от собственного крика. Хватаюсь за перекладину, подтягиваюсь, сажусь на кровати. Зажигается свет в коридоре, мамочка стоит на пороге мятая, злая, в старой ночнушке.

— Чего ты орёшь? Три часа ночи.

— Прости, мама.

— Опять кошмар? Сколько раз говорила: надо таблетки...

— В жопу таблетки. Я от них варёная, гамать нереально.

Мамочка всплёскивает ручонками:

— Александра, как можно! Что за лексикон?

Ей не лень произносить всё моё имя полностью. Ей не стрёмно учить меня в три часа ночи правильным словам.

Софья Орлова

Трофейный эрос

Рассказы

Побег

Пишмашинка гремела как рояль. Вороватые зимние тени скрадывали фигуру человека, только тоненькая шейка белела да прыгал надо лбом чуб. Приоткрылась дверь, щёлкнул выключатель. Тени разбежались, оставив за машинкой человека лет пятидесяти с лицом морщинистого мальчика.

— Саввич! Чего можно насочинять в темнотище?

— А вот оцени-ка, Саввишна!

Лицо Саввишны на блюдечке воротничка выразило озабоченность школьницы.

— И только голубой цикорий... — Саввич сглотнул хрипотцу. —

И только голубой цикорий
На стебле, по-солдатски грубом,
Способен выпить горечь горя
Неслышным поцелуем в губы.

— Он как раз и пришёл, — Саввишна локотком указала на прикрытую дверь.

— Кто, цикорий?

— Нет, другой, в мундире.

— Солдат?

— Ты меня запутал. Выйди и посмотри.

Саввич отхлебнул чёрного чая, снял нарукавники, некогда тоже чёрные, нацепил их на металлическое изголовье кровати (комната забита мебелью в стиле пятидесятих годов, на этажерке даже патефон притаился, покрытый кружевной салфеткой). Саввишна стяхнула на Саввиче домашнюю хламиду.

В прихожей дул на пальцы молоденький милиционер.

Софья Орлова (1938—2018) родилась в Москве, дочь многолетнего ответственного секретаря «Комсомольской правды» Рафаила Деспамеса и первая жена поэта Владимира Леоновича. С Золотой медалью и Красным дипломом окончила школу и филфак МГУ. Работала корреспондентом, в т.ч. «Литературной газеты», где неоднократно признавалась «Золотым пером». В середине 80-х «ушла в подполье» — занялась литературным творчеством, работала вахтёром и в охране.

— Сигнальчик об вас, гражданин. На какие доходы существуете? По профессии-то кто?

— Бухгалтер. Был бухгалтер, — заторопился Саввич, — лучшую часть жизни прощёлкал, а потом... потом...

— Танцевать со мной перестал, — помогла Саввишна. Она жадно слушала и поглядывала в зеркало, висевшее между Саввичем и милиционером, дешёвое зеркало, вырезанное в форме сердца.

— Была такая задумчивость! — весело вскричал Саввич. — Засомневался в предназначении... проще сказать, третий глаз у меня открылся — поэтический. Пришлось уволиться и купить пишмашинку.

Он взглянул на милиционера и заволновался:

— Вахтёром потом служил, шинель отработал, ушанку. Вот жена подтвердит.

— Жена? — насторожился милиционер и глянул в бумажку. — А отчество зачем одинаковое?

Саввич улыбнулся, плюнул на правую ладонь и пригладил чуб на левый глаз:

— Мы — дети войны, большой страшной войны, когда вас, товарищ, слава богу, не было... то есть, к сожалению, вы, товарищ, ещё не вылупились на свет божий... опять не тот оттенок. Ах, сколько муки со словом! Проще сказать, с этой очаровательницей в одном детдоме росли. Её подобрали на московской улице, меня привезли из городка на большой русской реке... никак к истокам не соберусь... Так вот, директор детдома Савва Варфоломеич презентовал нам своё светлое имечко вместо отцовского...

Саввишна перекинула на грудь рыжеватую косицу и в зеркале её разглядывала.

— А у вас, гражданка, какая профессия?

— Швейная.

— Патента, конечно, не имеете. Шли бы в ателье.

Саввич шагнул вперёд, милиционер попятился.

— Скажите, товарищ... Мог бы Пушкин отдать свою супруженьку в ателье?

Милиционер вздохнул:

— Дети-то хоть взрослые имеются?

— Как же! — обрадовался Саввич. — Есть дети! Много детей!

Исчез в комнате, вернулся, оставив дверь открытой, держа обеими руками кипу бумаг. Кипа изогнулась белорыбиной, листки со столбиками стихов запорхали. Саввишна ахнула, опустилась на корточки.

— Через неделю зайду, чтоб жили в законе, — сурово сказал милиционер и щёлкнул дверью.

— Вот вам и свобода личности! — вздохнул Саввич.

Саввишна захныкала.

— Он тебя обидел, да? — Саввич опустился на пол рядом с женой. — Скажи, обидел? Догоню!

— Не лезь в пузырьрёк! Ой! — прервала она себя. — Вот почему шью тебе просторное, стараюсь задрапировать... ну да, шейка тоненькая, плечико под углом девяносто градусов... ты и впрямь Пузырёк!

— Фи! Портняжно-парфюмерное сравнение! Но скажи, зачем плакала?

— В зеркале косичка такая жи-и-денькая, — и Саввишна опять захныкала, но муж крепко взял её за руку.

— Это потому, что в молодости у тебя была чересчур густая, соки высосала, а у тех женщин, у кого в старости густая, в молодости наоборот...

— Ой! — засмеялась Саввишна, — у тебя дебет с кредитом не сходится, товарищ! И Саввич засмеялся, уткнулся ей в худенькое плечо, пофыркивали, сидя на полу, но вдруг дёрнулись в сторону комнаты. В незавешенное окно глядели квадратики чужих огоньков, чужих глаз.

— Как вкрадчиво подкрался вечер... — забормотал Саввич. — Звуки оригинальны, а, как тебе?

Саввишна вскочила, задёрнула занавески, поставила на письменный стол патефон:

— Потанцуем?

Закряхтел «Цветущий май», и тут же в дверь позвонили. «Цветущий май» захлебнулся.

— Извиниться перед тобой... милиционер... — Саввич всё ещё сидел на полу, лицо сияло. Но за дверью оказался парень в шапочке с кисточкой, которую нёс гордо, будто шляпу с полями.

— А, баушка с дедушкой! Сырьёцо подходящее...

Сунул лист бумаги и пошёл к лифту, обернулся, сделал козу.

На листе значилось: «Побори страх — отдай жизнь в Госстрах!»

Они бесцельно стояли над так и не собранными страничками стихов. Меж неплотно сдвинутыми занавесками дрожал ломоть синего морозного воздуха.

— Госстрах вроде бы по домам не ходит, — прошептал Саввич.

— Помнишь Марию Робертовну, воспитательницу в детдоме? — сказала Саввишна. — Она обещала сделать нам пудинг — после войны. Не сделала, потому что не дожила...

— Так-так, — оживился Саввич.

— Чего так? Я о пудинге. Всю жизнь думала, он из творога, ну, знаешь, в столовках — «пудинг творожный». А тут вычитала в словаре, это кушанье из муки или риса, яиц, молока, изюма, пряностей. Никакого творога...

— Тонко, тонко! Я и сам считаю, бежать надо, скрыться ото всех...

— Да я о пудинге...

— Может быть. Но у меня ассоциация. Я ведь поэтишка, забыла? Бежать, скрыться ото всех! Ездят же в путешествие. Хочу опустить руку в воды родной реки. Только прокормимся ли?

— Иглой везде заработаю.

— А моё перо не в счёт? Ты как милиционер. Ещё тунеядцем обзови.

Саввич насупился. Но, увидев, как искривились бледные губы жены, прижал её к себе:

— А не вкусить ли жареной картошечки? Да с кислой капусткой? Да крепким чаёчком запить? Стихи после соберём, пусть они... пусть они, как листья, устилают пол...

Через несколько дней, тоже вечером, супруги вышли из подъезда. Он, в вахтёрской шинели и ушанке, нёс машинку в футляре. Она в пальтишке с капюшоном, с рюкзачком за спиной.

— Полетели, птички? — сосед, кутивший на крыльце, подмигнул.

— Это он... стукнул милиционеру, — прошептала Саввишна, когда отошли на приличное расстояние. Пересекли ночную Москву, взявшись за руки, торопясь, словно от погони. Но на перроне Саввич замешкался, забормотал: «Бледна у девушки щека, и чуть дрожит рука...» Их толкали, Саввишна прикрыла собой машинку.

— Есть! Бледна у девушки щека, и чуть дрожит рука. У юноши горбом рюкзак, в глазах отчаянности знак. Это мы с тобой на вокзале. Похоже?

— Рюкзак не у тебя, а у меня...

— Супруженька! Подумаю, что ты не смыслишь в поэзии.

Недовольный, вошёл он в полупустой выстуженный вагон. В их отсеке сидел за столиком солдат и смотрел в окно.

— Ты чуял его, — шепнула Саввишна, — помнишь, у тебя в стихе — солдат на стебле сидит?

— Не солдат, а цикорий... на стебле, по-солдатски грубом, — тоже шёпотом поправил Саввич, но смягчился.

А когда поезд тронулся, весело вскричал: «А не справится ли насчёт чаёчка?» — «А не навести ли красоту? — откликнулась Саввишна. — Вещички на солдатаки кинем!»

Она вернулась первой. В отсеке было полутемно, стенки грохотали и тряслись, как в падучей, солдат сидел в той же позе.

— А где мой Пузырёк? — испугалась Саввишна.

Солдат повернул лицо, светло-детское, с покрасневшей кожей.

— Не знаю, где ваш пузырёк, м-мамаша, а мой при мне.

И вытянул из-под стола бутылку вина.

Когда Саввич вернулся в отсек, жена сидела рядом с плачущим солдатом, сама плакала, держа в руке кружку, а в воздухе реял запах «Агдама».

— Это как понимать, супруженька? — поразился Саввич. — С какой-то радости? Да с посторонним мужчиной?

— Витя, не посторонний, у него горе, — объяснила Саввишна. — Человека убил.

— Господи! Так он... из тюрьмы?

— Нет, из Прибалтики. Понимаешь, Пузырёк, на их казарму напали эти... ну экстремисты, что ли, Витя толком не знает. Наши солдатики палить. Витина пуля одного и достала.

— А может, не Витина? Говоришь, вся казарма палила.

— Его! — всхлипнула Саввишна, — потому что из всей казармы Бог только Витеньку наказал. Назавтра после боя телеграмма пришла, что его родители грибками отравились. Мальчик свалился в горячке. Теперь вот едет, уж на могилку...

— Выпей с нами, батя! — взмолился солдат, вытаскивая непечатую бутылку «Агдама».

— Никуда не денешься! — вздохнул Саввич и, поплевав на ладонь, пригладил чуб.

Наутро проводник, собирая под их столиком пустые бутылки, косясь на Саввича, ворчал: «Скандалил... без чая, видите ли, не может...»

— Крепче чая не пью, — оправдывался Саввич и с укором глянул на жену, но та не отрывалась от окна.

— Будет тебе, батя, чай! — весело сказал солдат. — Вот приедем в наш с тобой городок...

Подкатывали. Зачернели плетни зимних огородов, потянулись вразнобой домишки, вросшие в снег. Задымила труба заводика. Солдат надел рюкзак Саввишны, взял в одну руку свой портфель, в другую пишмашинку и пошёл к выходу. Следом Саввишна. Саввич нарочно помешкал. Не оглянулась, не проверила, идёт ли муж. «Порвалась цепь сердец, — бормотал Саввич, поспешая за женой и солдатом, — не то... с тюремным отливом... порвалась нить сердец... это точнее».

Поезд остановился прямо в центре у старинных торговых рядов. Ряды облупились, обострились, на лавках повисли ржавые замки. Зато снег блистал таким великолепием, что они зажмурились.

Инга Кузнецова

Подушка опасности

* * *

совпав с водой
не научившись плавать
теряя туфли
я коснулась дна
там будет мне невидимее плакать
что жизнь одна
там я смогу служить круговороту
осмысленно-бессмысленных вещей
суровый зритель
подави зевоту
остросюжета нет вообще
мы всё видали
выйдя из поэтов
вся жизнь дрожит на кончике ножа
заржавленном
вот и молчи об этом
вода-душа

* * *

вот тело я на поводке
веду как нового питомца
его прыжки и позвонки
понравились двум незнакомцам
вот отстегну я поводок
присяду с книгой на скамейку
а мой питомец наутёк
и курам на смех мнётся мех
куда ты резвое зверьё
опять ты ластишься к прохожим
несущим палку и ружьё
на всех герасимов похожим

Кузнецова Инга Анатольевна — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родилась в посёлке Черноморском Краснодарского края. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор пяти книг стихов и трёх романов. Лауреат литературных премий «Триумф» (2003) и «Московский счёт» (2003). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

* * *

простёрлась ткань безумия но мы
всё шли и шли в неё не облакаясь
подобно линзам наведя на мир
ума прозрачные лекала
но странно ни звериного пути
ни почерка ни птичьего паренья
сквозь мысли не могли мы осветить
печальным зреньем
товарищи решили отдохнуть
присели и тотчас ушли со всеми
надеждами в межпочвенную муть
а мы слепцы рассматривали землю

* * *

поздняя любовь
случилась так рано
что можно зачать
небо и землю
можно зачать
сон и бессонницу
шёпот и шорох
деревья и звёзды

можно успеть
всё переделать
из римских развалин
выстроить время

можно успеть
отменить эволюцию
элементарно
пересоздаться

поздняя любовь
схватилась так быстро
что не разнять
воздух и воду
вечер и ветер
вечер и вечность
необратимость
и необратимость

* * *

мы заснули внутри поцелуя
и проснувшись под утро
ты обнаружил
наши губы срослись
головы
превратились в реторты нежности
мысли булькали в них
дистиллируясь
попеременно
в то же время
крошечный-ты
путешествовал меж пупырышками
внутри рта
по лугам
медуницы и мяты
нёбо моё
для тебя было влажным
розовым небом

так оказывается
всё и устроено тут
мы-большие встречаем рассветы
в божественном рту
бог не целует
мы в мякоти бога
божественный язык
это наш разговорный
это наша
подушка опасности
такая упругая

речь слюна
купаемся в ней

* * *

я не помню
завтракала или нет
сын мой вырос
вылетел из гнезда
мой любимый
в северных краях
бьётся крыльями
о старые капоты
что поделать
я лежу в гнезде
узкая птица
во мхах прошлогодней нежности
семечки кончились
скоро весна
скоро нашествие
призрачных насекомых
что же ты что ты
хотел мне пропеть
сквозь мегаполиса
смертельную стужу
сквозь эти жирные
капли неправды
зависшие в воздухе
напиши на снегу

* * *

дом как корабль на якоре
как прометей прикованный
всё происходит якобы
наши слова диковины
ягоду-клад-сегодня
выкопай из-под земли
будущее негодно
сроки его прошли

Юрий Серебрянский

Хель

Повесть

Письмо Юрия Серебрянского родственно, пожалуй, точечной живописи австралийских аборигенов. И то и другое — острое, осторожное, но вообще бездонное и бесстрашное. Только краски автора заметно более приглушены и дымны, если не сказать — печальны. Ну так — Австралия в Австралии, точечной живописи тысячи лет, а Юрий — сегодня и с нами. Но — с европейским пуантилизмом не имеет ничего общего! Суть же в том, что Мир является изумительно расшнурованным и изменяется с каждым шагом каждого существа и с колебанием каждого вещества в нём. Намерения и мысли — это тоже шаги и движения, и даже более чем. География остра и важна — но при этом надмирна. Герои совершают поступки — но главная речь идёт не совсем о них. И в результате мы имеем сумму каких-то очень важных Доказательств, словами их не выразить, несмотря на то, что явлены они при помощи одних слов. Это литература, которая является навигацией в чистейшем виде. А куда? И где мы окажемся? Ну, так таких вопросов не задают! Возможно, мы окажемся вплотную к себе — подойдём и обхватим ладонями собственную голову. А Хель — это крошечный курортный город на Балтике в Польше на кончике одноимённого полуострова...

Цитата как биопсия: «Владиславово за эти несколько лет стало похоже на монету, прилиплю ко дну старой металлической чашки в саду. Поверхность блестит, и герб покачивается под слоем дождевой воды, когда в чашку попадают капли, а если протянуть руку и достать её со дна, то окажется, что обратная сторона грязная, бугристая, в наростах от проржавевшего дна».

Денис ОСОКИН, писатель

Юрий Серебрянский — прозаик, поэт. Родился в 1975 году в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет, получив диплом химика-эколога, и Варминско-Мазурский университет в городе Ольштын по специальности культурология. Дважды лауреат «Русской премии» в жанре «Малая проза» — за повести «Destination» («ДН», 2010, № 8) и «Пражаки» («ДН», 2014, № 9). Постоянный автор «ДН». Живёт в Казахстане.

Не могу слушать меланхоличную музыку. Но меньше всего ведь есть той музыки, что привлекает душу ясными, зовущими танцевать грациозными звуками, а потом, уходя от веселья незаметно, становится лишь сплошным широким потоком грусти.

Ольга КОБЫЛЯНСКАЯ, *Valse mélancolique*

1

Чёрный опель марки «Астра», небольшой, созданный для семьи среднего достатка автомобиль, нёсся по объездной труймаста — как принято здесь, в бывшей восточной Пруссии, а теперь Польше, называть братство-сестринство трёх городов — Гданьска, Сопота и Гдыни, совершенно между собой не похожих, то ли привенчаных, то ли морганатических детей. Каждый из них давно повзрослел и живёт своей жизнью. Средний, Гданьск, — кажется высокомерным, может, потому что многого добился. Когда-то. Старший — Сопот, так и родился стариком у седого моря. Ничем его не отвлечь от созерцания горизонта. Он уже видел всё, кроме ненавистного высоченного забора обводной дороги, из брешей в котором выскакивают порой под колёса олени.

Младшая сестричка — Гдыня, с братьями общается мало. Поздний ребёнок, любовница новой Европы, в сумочке постоянно звонит мобильный, и мелодию никто не узнаёт.

Машины этой марки отлично держат трассу, чего не скажешь о выдавшем виды ниссане, в котором Кинга с отцом ковыляли всё детство из Хеля в аэропорт Гданьска встречать очередного заокеанского гостя. Обводницы ещё не было, и дорога вела от города к городу длинной цепочкой. Крупные камни, их три, а между ними мелочь кашубских посёлков.

Новая трасса подпрыгивает иглой только на царапинах памяти, ровная дорога, анонимность больших скоростей. Не забывай об оленях, Кинга!

Поездки свои Кинга с отцом начинали весной, когда уже можно было сидеть вечерами на берегу Балтики и на старом кладбище меннонитов в Стогах сходил снег. Гостя встречали у выхода из небольшого аэропорта в Рембехове, и обычно в руках у него был небольшой чемодан на три дня. Иногда спортивная сумка.

Всех гостей отца объединяла одна особенность — в некотором смысле соседство — их фамилии можно было разобрать на надгробных плитах кладбища в Стогах. Геллен, Фалф, Петерс. Все гости так или иначе приходились родственниками лежавшим там с шестнадцатого века людям. Всю свою жизнь до этого момента они занимались делами, где-то внутри ожидая звоночка из прошлого, а получали письмо отца и фотографии фамильных надгробий. Оставляли дела на три дня и летели в далёкую Польшу, туда, где, как говорит Мисс Шортли, в религии не было никакой реформации.

Иногда, однако, приезжавшие оказывались набожны, в чемоданах привозили крестики, клали их на надгробие и о чём-то думали. Отец всю дорогу рассказывал им истории о меннонитах, одной рукой управляя ниссаном.

Эти ваши меннониты были самой экзотической общиной из всех, кто здесь когда-то пытался жить. Самыми экстравагантными, конечно, оказались пруссы, истреблённые ещё до того, как подробности их культуры успели остаться в истории.

Даже название сохранилось ненастоящее. Вымышленное. Пруссия. А Восточная Пруссия для восточного человека, к примеру, греет душу. Но востоком здесь и не пахнет. Слияние и поглощение — вот истинный образ Пруссии. Известно только, что пруссы представляли собой народность. Как немцы и кашубы.

Поселившихся здесь советских людей (граница совсем рядом) объединяла идеология. Рыцарей тевтонского ордена — вера и деньги. Меннониты такие же христиане, как и рыцари, такие же идеалисты, как советские люди, только они оказались пацифистами. Не желая воевать за родную Голландию, бежали сюда. Как бежали в Россию, и в Мексику, и Белиз, и добрались даже до Хивы, тем самым опосредованно оправдав это название — Восточная Пруссия.

Переезжая с места на место, они ничего с собой не брали, только убеждения и личные вещи. Трудолюбие и изолированность позволяли им выжить каждый раз. Зная, что придётся начинать всё с начала и давно утратив чувство ностальгии, они оставляли после себя деревянные амбары и каменные кладбища. В общем, всё то, что так любит государственная служба охраны памятников истории любой страны.

Отец шутил, показывая свободной рукой на небольшой чемодан гостя, лежавший за диваном заднего сиденья: «Да вы настоящий меннонит, сэр, вещей у вас как кот заплакал!» Потом они вместе смеялись. Перед отлётом, когда отец доставал из багажника и ставил чемодан на тротуар, они снова вспоминали эту шутку, гость улетал навсегда, а Кинга с отцом оставались присматривать за могилой и трёхдневными воспоминаниями. Платили за это по-разному. Но всегда недостаточно.

У одного американского гостя кроме сумки в руке была деревянная бейсбольная бита. Молодой, дышащий глубоко, еле уместившийся в ниссан американец по фамилии Кран.

Кристине, университетской подруге Кинги довелось услышать эту историю про бейсбольную битку в формате посиделки в общежитии города N после двух бутылок красного. От самой Кинги, конечно. Подробности поездки, в которых то и дело увязала Кинга, осыпались почти сразу, оставив только яркий спектр.

Ладно, рубрика «мой самый первый раз!» Лет в четырнадцать у меня уже выросла грудь. Её хорошо было видно в зеркало заднего вида. Если отец замечал, что гость пялится на меня, разговор сводился к вечеру с пивом, и потом гость отправлялся в наш трейлер, где я сидела на кровати нижнего яруса, на моей собственной кровати, и иногда слушала беседы за стенкой, на берегу. Папа не разрешал им меня трахать под страхом страшной смерти. До шестнадцати лет я была целкой, перевидавшей разных размеров — тонких, толстых, трудных, безрезультатных и сверхзвуковых. У отца стратегическое мышление: он называл это попутные деньги.

Когда мы встречали того гостя с битой, мне уже исполнилось шестнадцать. Вечером он затащил битку в трейлер и перво-наперво стал осматриваться, куда бы её положить. Я сидела на кровати в одних трусах. При тусклом свете ему трудно было сориентироваться в нашей тесноте. Он просто положил битку на кровать второго яруса. За стенкой он рассказывал отцу, что играл в высшей лиге, а теперь занимается инвентарём. На бите, между прочим, его имя и роспись. Не настоящая. Часть логотипа. Я сползла на пол, чтобы он смог протиснуться и лечь на кровать, но он поднял меня за талию и положил на спину, сначала стянул футболку, а потом начал тянуть меня за трусы. Я сделала страшные глаза, кивнув в сторону стенки, — там, на улице, сидел мой отец у костра, и если только трейлер качнётся... Он не слушал меня, но действовал

очень медленно, как будто пиво не имело над ним контроля! Не то что это русское вино! Он первым до этого догадался. Может, раньше я просто была слишком мала для куни. Будет ещё взрослый мужик лизать ребёнку! Не помню, о чём думала в тот момент. Потом повторилось, мне захотелось сжаться, но он как будто знал об этом и держал.

Я подумала, что пора, и вернулась в сидячее положение. Сердце колотилось, он посмотрел на меня, подставил ладонь между ног, и я начала легонько тереться об эту ладонь, чувствуя, что палец вот-вот проникнет внутрь. Единственная кровать, которую я вообще помнила в жизни, оказалась страшно неудобным приспособлением для всего происходившего. Он каким-то образом освободился от шорт и проскользнул подо мной всем телом, настоящий спортсмен, мокрый пловец, извернулся и ухватил за талию, довольно больно сжал меня и приподнял, как гимнастку в цирке. Я ухватилась двумя руками за края кровати верхнего яруса и очень легко, удивительно легко, я была кусочком растопленного масла на сковороде, села на его член, и дыхание перехватило. Я думала только — «держусь, тружусь», до побелевших костяшек. Он сам всё что надо делал, приподнимал и опускал. Я открыла глаза и увидела, что его живот в крови. Боже, как я испугалась, соскочила в проём, схватила футболку и начала тереть его живот и член, он тоже был в крови. Бейсболист поджимал ноги к животу, защищаясь, и руки выставлял, а я уворачивалась и тёрла живот и член, потому что отец убил бы меня, ведь это я сама сделала. А битую он мне подарил. С лакированной подписью «Берген». Она там так и лежит, в нашем трейлере, только я её переложила под свою кровать, там отделение для вещей во всю длину.

2

На такой дороге чувствуешь себя мышью в лабиринте, серый высоченный забор ведёт влево-вправо, географию узнаёшь по указателям. Бок о бок несутся другие.

Но выезжаешь за Сопот, и вдруг заборы пропадают — перед глазами зелёные холмы, и видно, как автомобили вдалеке, на краю заката, медленно вползают по дороге на холм, а у тебя впереди резкий спуск, похожий на обрыв, и там дороги совсем не видно, но ты уверен, что это не обрыв, ведь те машины как-то выползли! Ты летишь вниз, с холма, не снижая скорости, но и не позволяя машине разогнаться, замечаешь мост над заросшей рекой в самой нижней точке спуска, но реку разглядывать некогда, замечаешь сильный, уже холодный в низине боковой ветер с запахом дикой травы, уходишь на резкий подъём, и остаётся только ощущение прекрасного свежего вдоха и вечернего солнца. Как будто кто-то на секунду вынул из пачки фотографий и показал тебе идеальную картинку, тут же сунув обратно и перетасовав. Потом ты влетаешь на холм, и справа блестит полоска моря, дорога раздваивается в развязке, знаки просят снизить скорость, и за бетонной изогнутой эстакадой оказываются видны этажи кораблей. Это порт Гдыни, куда тебе не надо. Да и дорога твоя теперь резко уходит влево. Море исчезает за спиной, и ты уже у самого въезда в темнеющий посёлок. Невидимая рука всё решила за тебя. Пора включить фары, и ты попутно смотришь на часы — весь пролёт по холмам длился не больше пяти минут, и море мелькнуло всего на минутку, но ты ведь даже названия посёлка не заметил, думая всё время лишь о том, что никогда этой реки в долине раньше не видел и даже не знал о её существовании, и что машины чудом с холма не падают.

Странные кашубские сёла, живущие вокруг дороги. Костёл напротив ресторана, школа, всё на виду проезжающих мимо. Не сказать, чтобы завидно.

Роман Сенчин

Детонация

Рассказ

Ближе к пятидесяти годам Свечин стал замечать, что становится не то чтобы трусоват... Вот говорят же: человек с годами мудреет. Наверное, мудрость проявляется не в способности мгновенно отличать добро от зла, находить истину, прекращать спор одной фразой. Скорее всего, мудрый человек в первую очередь осторожен. Это хорошее качество. Оно удерживает его самого и близких к нему от совершения ошибок.

До недавнего времени Свечин был уверен в себе. Ещё младшим школьником ощутил внутри нечто вроде тёплого, твёрдого камешка. Это было знание. Не накопленное жизненным опытом, а словно вложенное природой. И оно помогало не сбиваться с пути, не отвлекаться на разные миражи. Двигаться по жизни целеустремлённо и смело.

Нет, конечно, путь был не проторённый другими. На самом деле это было бездорожье, часто вязкое, опасное, но камешек внутри ободрял: идёшь правильно, всё будет нормально.

Свечин плохо учился в школе, потому что камешек убеждал: тебя учат не тому, бери с полки такие-то книги и читай их. Свечин пошёл служить в армию, хотя тогда армии боялись, от неё усиленно отмазывались и косили, и даже в военкоматах офицеры и врачи с готовностью — нередко без всяких взяток — выдавали военные билеты с отметкой «негоден». Но Свечин явился по первой же повестке, несмотря на дедовщину, множась горячие точки, страх недавнего Афгана. Просто знание подсказало: пригодится, много чего увидишь, узнаешь, не бойся. Отслужил, вернулся целым и невредимым.

После армии много где пробовал учиться, в том числе на истфаках в двух педах. Бросал, переезжал из города в город, жил на вписках, а иногда и вовсе бродяжничал, ночуя на вокзалах и в аэропортах, мылся в городских банях, где заодно стирал вещи, а потом сушил их на верёвках во дворах или на ветках деревьев. Камешек нашёптывал: так надо, так надо.

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя» и др. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Ясная Поляна» и «Большая книга». Живёт в Екатеринбурге. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

Когда стал писать, оказалось, что это природное знание ему мешает. Сомневающиеся персонажи, их душевные переломы, размышления получались с трудом. У самого Свечина убеждения, опять же не приобретённые, а врождённые, что ли, не менялись, музыкальные, литературные, даже политические пристрастия оставались такими, какие были в пятнадцать, тридцать, сорок лет. И иногда он с достоинством говорил: «Я человек в плане мировоззрения статический».

Камешек знания не вёл его к тупикам и ошибкам, даже если его указания казались странными, нелогичными, опасными. В девяносто шестом году Свечин, уже взрослый, двадцатипятилетний, оказался в Москве и, вместо того чтобы принять предложение друга по армии торговать на Горбушке дисками, поступил в Литературный институт. На втором курсе женился, на пятом у него вышла первая книга. А дружку дали пятёрку: кроме дисков, как оказалось, продавал экстази.

Двадцать лет Свечин прожил в Москве, работал в газете, публиковался в журналах, частенько получал премии, книги издавались почти ежегодно, права на некоторые покупали за рубежом. Вроде бы всё отлично, жизнь устоялась. И тут, во время очередной ссоры с женой, камешек внутри стал печь, жечь, давить: всё, хватит, собери вещи и уезжай! Не сомневаясь, Свечин сунул в сумку ноутбук, тетради с начатыми текстами, носки, зубную щётку и шагнул за дверь.

Стоял у ближайшей станции метро, курил и выбирал, куда поехать. Родителям на глаза вот таким, вышвырнутым псом, показаться было стыдно, а больше его вроде бы никто не ждал. Набрал номер молодой женщины из Екатеринбурга, с которой не так давно случился так называемый командировочный романчик, спросил: «Серафима, можно к тебе приехать?» Без всякой надежды спросил, но будто ему продиктовали эти слова. И она ответила: «Ну приезжай». Ответила, не удивившись, как-то так равнодушно. Он приехал, и вот шестой год они вместе. Женились, у них отличная квартира в новом доме; Серафима ждёт ребёнка...

Но постепенно камешек стал растворяться. Как кусок соли в воде.

Может, и правильно — полтинник, пора притихнуть, больше размышлять, чем говорить и писать.

Работая в газете, Свечин выдавал в неделю по два-три материала на разные темы. Ещё и колонки вёл то в одном издании, то в другом. И везде высказывал своё мнение, критиковал, одобрял. А нынче по многим вопросам не мог занять позицию, сомневался, отмалчивался... Раньше активно писал в «Фейсбуке» (запрещён в РФ), теперь же в основном читал чужие посты, комментировал осторожно, взвешивая, какую реакцию поставить — «нравится», «супер», «возмутительно», «сочувствую»...

И вот наступил день 24 февраля, когда высказаться, определиться стало необходимо. Солдаты его страны перешли границу соседней. В большинстве средств массовой информации и в соцсетях это тут же назвали войной, но власть объявила: «Началась специальная военная операция». А за «войну» пообещала наказывать.

Как заметил Свечин, для многих, особенно тех, кто отвык или не научился смотреть телевизор, случившееся оказалось полной неожиданностью, повергло их в так называемый шок. Ну были какие-то сложности, какая-то напряжённость, но чтобы ракеты, танки, снаряды... Свечин не удивился. Испугался — да, но без удивления.

Он всю осень и начало зимы провёл в деревне у заболевших родителей. Интернет там ловил очень слабо, поэтому приходилось включать телевизор. Смотрел в основном смешные сериальчики вроде «Универа», «Саши-Тани» — нужно было отвлекаться от гнетущего ощущения, что мама и отец умирают, — но иногда, чаще по просьбе

ненадолго выбиравшихся из полузабытья родителей — «как там в мире?» — переключал на центральные каналы. И везде утверждали: власть в соседней стране захватили нацисты, бандеровцы, там строятся базы НАТО, скоро придут ракеты, которые направят на нас и в любой момент смогут нажать на кнопку.

В общем-то, подобное, правда, не с таким напором, не с такой яростью, говорили на протяжении восьми лет, с того момента, когда у соседей свергли президента и началась, по сути, гражданская, с элементами этнической, война. В итоге полуостров, омываемый Чёрным морем, вошёл в состав России, части двух областей объявили себя суверенными республиками, и с тех пор соседнее государство их периодически атаковало ракетами, живой силой, пытаясь то ли вернуть, то ли наказать, а республики им отвечали; русский язык у соседей, где говорящих на нём жило больше восьми миллионов, постепенно утратил всяческий статус...

Стоп — какой итог? Никакого итога нет, есть страшное продолжение.

Впрочем, за три дня до двадцать четвёртого Свечину и, как он успел заметить, многим другим показалось, что он, итог этот, близок. Президент подписал указы о признании Россией республик независимыми, были заключены договоры о дружбе и взаимопомощи. Появилась надежда, что соседнее государство перестанет претендовать на эту территорию — испугается нашей силы.

Сначала было объявлено: республики признаются в фактических границах, а через несколько часов пришло уточнение: в границах областей. И запахло войной. Правда, небольшой, скорее всего, локальной. Но утром 24 февраля, включив радио, Свечин услышал о точечных ударах по аэродромам, частям ПВО, командным пунктам соседей, а следом о том, что с юга, востока и севера в глубь их территории двинулась бронетехника.

И зазвучали сводки из зоны боевых действий с названиями городов, которые у Свечина — бывшего пионера и студента истфака — ассоциировались в первую очередь с осадами, котлами, пожарами, катастрофами, эвакуациями: Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Одесса, в которой готовятся сейчас отразить российский десант...

Сначала ожог, потом онемение, потом боль. Это была реакция организма на опасность, а врождённое знание молчало, не давало знак, как реагировать. В голове заискрились картинки, термины, исторические факты, фамилии, даты: смерть... ООН... 1941... 1914... пляж в Орловке под Севастополем, где так хорошо отдыхалось прошлым летом... Ковпак... Шухевич... знакомый поэт из Киева Александр Кабанов... Небесная сотня... обгоревшие трупы в Одессе... ночной парк Артёма в Харькове, бутылка портвейна, второй курс Литинститута, Лимонов наизусть... Олег Скрипка с предложением создать гетто для нежелающих учить украинский... специальная военная операция... НАТО, высокоточное оружие... вторжение... глаза умирающей женщины в Луганске...

Проснулась жена. Вошла на кухню такая милая, уютная, в короткой ночнушке.

— Доброе утро, — сказала.

— До... — по привычке начал было Свечин и проглотил продолжение слова; хрипнул: — Началось.

Не было разговоров, обсуждений, слёз, стенаний. Сидели по разным комнатам, лежали рядом на широкой кровати и листали, листали, листали в своих телефонах посты в соцсетях, слушали «Эхо Москвы», смотрели «Россию 24», выпуски «Редакции», снова листали... Мейн-кунша Инесса, все четыре года почти не замечавшая их, видимо, считавшая унижительным просить корм, устроилась между ними. То ли ища защиты, то ли защищая.

Ефим Гаммер

День без Родины

Рассказ о реальных событиях

Двойственность, эта прилипчивая двойственность эмигранта, да к тому же еврея, она существует, как её ни гони...

Ты её в шею — она тебе в душу.

Ты её хлыстом, она тебя по щётке.

Ты в неё камнем, она в тебя медовым пряником.

У тебя ещё есть альтернатива. А у неё нет. Ей надо выжить в тебе, иначе кому она нужна, если отвергнута даже евреем.

Но однажды наступает минута, когда и у тебя нет альтернативы, и ты вдруг с детской ясностью понимаешь, что — всё! баста! — ты еврей однозначно, как нож — это нож, как взрыв — это взрыв, как боль — это боль. Ты еврей, и всё, — точка!

Это физически ощутимое понятие накатило на меня внезапно. И не за чашечкой кофе, не за пишущей машинкой. А в поезде «Варшава — Вена». В тот момент, когда ещё хочется по привычке сгладить обстановку, выискать обходной манёвр, улизнуть из своей однозначности. В журналистских командировках улизнёшь от неё, скроешься за облизанными формулировками. На кинофестивалях, интервьюируя звёзд экрана, тоже. Но в поезде «Варшава — Вена» — врётся, не уйдёшь! Что за тобой стоит? Ничего! Ни должности, ни звания, ни мировоззрения. И страна, в которой ты родился и вырос, не стоит за тобой. Сзади — пустота! Что ты представляешь для окружающих? Только то, что впитывает их зрение, чувствует их нос. Ты голенький, как в покойницкой. И будь ты даже омыт стократно, вражьей ноздри не обманешь. Будет пахнуть от тебя не лавандой, не лавровыми венками лауреата и чемпиона, а характерным, не воспринимаемым самим собой, душком. Каким конкретно? Я и сам не знаю, каким. Однако, если он не выветрился из нас за два тысячелетия рассеяния, значит, очень стойким. И главное, неприятным для любого арийца, будь он немец, поляк, — да кто угодно! Тем более что он стоит на своей земле, дышит своим воздухом, ест свой хлеб.

Он имеет полное право воротить нос.

Ефим Гаммер родился в 1945 году в Оренбурге, окончил отделение журналистики ЛГУ в Риге. Автор свыше двадцати книг стихов и прозы, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Печатается в журналах «Дружба народов», «Арион», «Нева», «Слово\Word» и др. Живёт в Иерусалиме.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

Ибо когда ты стоишь на его земле, он вынужден тесниться.

Когда ты дышишь его воздухом, ему не достаёт кислорода.

Когда ты ешь его хлеб...

Впрочем, ты никогда не ел чужой хлеб. Однако это никому не мешало попрекать тебя куском. Не потому, что жалко куска, а потому, что надо же кого-то попрекать.

Стоп! К чему доморощенная философия, когда пришло время загружаться в поезд «Варшава — Вена».

Варшавский вокзал радушно выкатил его к перрону.

Окна вагонов приветливо улыбались нам — паломникам веков, с чемоданами и саквояжами, вступившим в тот промежуток жизни, когда «вчера» осталось на рубеже двух миров, а «сегодня» ещё не проступило в огнях израильского аэропорта.

Мы с нетерпением поглядываем по сторонам, выискивая проводника. «Братская Польша» — все ещё «братская» для нашего, приученного к советским формулировкам мозга — затасовала его мощную, пятиведёрную, налитую пивом до ушей тушу в полумгле наступающего вечера, в толпе носильщиков и пассажиров.

И мы в ожидании посадки могли присмотреться друг к другу: любопытно всё же, как они выглядят, евреи разных республик?

О евреи, евреи, рабы мимикрии! Как вы внешне изменчивы! Где ваш типичный для сторонних наблюдателей антисемитского тупичка разрез глаз? Горбатый нос? Брызжущие слюной губы?

Вот стоит передо мной бухарец, вылитый сын востока, в тубетейке, с ковром, охватывающим шею как хомут, с выводком детей и женой на сносках. Еврей? В паспорт не заглянешь...

Вот стоит передо мной худощавый старик с обожжённым лицом. У какой печки он столь сурово обжёгся? Не у той ли, из которой таскал каштаны для вышестоящего начальства? Но почему же на его груди нашивки за ранения? Почему пиджак вызывает, как на пожар рында? Ах, орденами и медалями вызывает пиджак, призывает окружающих к почтительности. Еврей ли старик, вдетый в столь достопримечательный пиджак? Кто его знает... Евреи, как помнится из дразнилок, «воевали в Ташкенте».

Вот передо мной... Да, а чего это вдруг приглядываются ко мне? Голубые глаза? Светлые, каштанового отлива волосы? И всего-то — раз-два — почти нет чемоданов. Ясное дело, прикидывают, какого я рода-племени.

Что ж, придадим себе независимый вид. Независимость — лучший друг и товарищ в дороге, в особенности на первых порах, когда не знаешь, кто есть кто...

Я не знал, кто есть кто. Люди на перроне тоже не знали.

Проводник это знал превосходно.

Он появился.

Он навис над нами, как дамоклов меч.

— Мест нет! — сказал на неведомом языке, но очень понятно.

Заволновались все, забурлили.

— У нас билеты!

— Недействительны ваши билеты без посадочного талона, — невозмутимо пояснил проводник.

— А где взять посадочные талоны?

— В билетной кассе, на вокзале, — отвечал проводник.

Носильщики, гибкие, как хлысты, постёгивали по ушам русскими словами:

— Пятьдесят долларов, найдём место. Баксы гони! Деньги! Деньги!

Деньги? Доллары? Так за всё уплачено ещё в Риге, в рублях, при покупке билетов.

— За всё уплачено! — кричу проводнику.

И моя двухлетняя дочь Белла начинает плакать.

Мой трёхлетний племянник Натан готов цапнуть зубами нехорошего дядю.

Нехороший дядя с нехорошей улыбкой нехорошо смотрит на ручные часы.

Скоро, очень скоро отправление.

Я бегу на вокзал.

За мной бежит бухарец.

Далеко позади старик-орденоносец.

Касса. И финишный рывок.

Касса. И трепетное, с придыхом: «Мне нужен посадочный талон на поезд “Варшава — Вена”».

Под ложечкой сосёт: «А что если кассирша ни слова по-русски не понимает?»

Нет, она «разумет». Это я ничего «не разумею».

— Нет посадочных талонов! Кончились! — говорит она и улыбается: на, мол, посмотри, разгорячённый марафонец, на улыбочку польской дамы. Это тебе истинный сервис, на западный лад, — не хухры-мухры!

Посмотрел я на этот сервис, а потом на часы. И накатывает на меня, что вот-вот свисток паровоза, и «едем, едем, едем в далёкие края» — без меня.

И опять рывок.

И опять — финиш.

А проводник — два метра ввысь, два метра вширь — по-прежнему неприступен. Полякам — пожалуйста. Евреям — ни в какую!

Поляки проходят мимо по перрону, косятся на нас:

— Жидовский вагон!

Наша бригада «зайцев поневоле» инициативно ищет «вход» к сердцу конвоира... оговорился, часового-охранника... тьфу!.. проводника. «Вход» — он же и «выход» из положения.

Кто попроворней, так это, конечно, старушенция в платочке, что бочком-бочком и в лапу носильщика вкомкала пятидесятку с портретом какого-то, по лицу незнакомого американского президента.

Кто поизворотливей, так это, конечно, бухарец. Влез с ковром на подножку, впихнул носильщику зелёную.

А остальные? Остальные тоже изыскивают тропинку к сердцу носильщика, проложенную заморской «зеленью». Суют ему в рот долларовую «капусту», а он... Он не берёт. Он, этот охотник за головами американских президентов, что красуются на баксах, уже требует не пятьдесят — сто. Пока я бегал туда-сюда, у них, видимо, девальвация произошла.

Куда теперь бежать? Дать сколько хочет?

«О евреи! — восклицаю нутром, чтобы никто не услышал. — Где же ваша солидарность? С чего это вы терпите издевательскую девальвацию?»

А евреи уже и не евреи вовсе. Они уже — новое поколение хвалёной мимикрии! — чувствуют себя на польский манер «жидами».

Старик-орденоносец цепляется за рукав проводника, чтобы не упасть от физической немощи, шамкает ему с рабской угодливостью:

— Я Польшу освобождал. От фашистов.

— Доллары! Доллары! Гони сюда бабки! — вполз в его обгорелое ухо носильщик.

Русскими словами вполз поляк в ухо еврея.

— Нет долларов. Я внукам отдал. Они едут в Америку. А я... Я... Зачем мне в Израиле доллары?

— Советский орден тебе там тоже незначит. Снимай-скручивай. Он из платины.

Старик дрожащими пальцами стал отвинчивать орден с драгоценным — в денежном эквиваленте — профилем Ленина.

И тогда я с братом Борисом, видя дрожащие пальцы старого солдата, видя, как начинают вращаться спицы колёс, внесли его, втолкнули в дверь, побросали следом чемоданы, на них детей, схватились за поручни. И вдруг с ужасом осознали, что вкинули на площадку детей бухарца — не своих.

— Белла!

— Натан!

Носильщик — услужливый малый — детей на руки, и бегом за вагоном.

— Доллары! Бабки! Детей в «капусте» находят — не забывай, а то напомним!

Гвалт и визг вокруг. Стоны, плач.

И брат мой Борис воткнул в пасть носильщика доллары, не считая, сколько выхватил из кармана. Забрал детей и рванулся не глядя в тамбур — на узлы, чемоданы, портфели.

Скорей бы протиснуться в купе, спрятать своё сокровище!

Спрятал. Затем и мы спрятались. «Ну, — думаем, — доберёмся до Вены, а там...»

Какое «там»!

Здесь ещё, оказывается, ничего не кончено.

Здесь ещё, оказывается, не затаиться в раковине двойственности.

Здесь ещё, оказывается, надо оставаться для всех евреем или жидом — вот и всё многообразие превращений.

Проводник, будто трахнутый пыльным мешком по кумполу, ревет на весь вагон, заходится. Что он ревет? Чем он недоволен на сей раз?

Ах, орёт он потому, что мы — я и брат мой Борис — обманули его ожидания. Обманули... Скорее, носильщик их обманул, смотав удочки в какую-нибудь варшавскую «Берёзку». Мы-то при чём? Всё честь по чести, если пристойно её упомянуть.

Орёт он... И выясняется с опозданием, что мы не в ту лапу сунули. Главную лапу, самую волосатую, обделили.

Как же быть?

И мы вынырнули из купе, чтобы посмотреть, где он, буёк компромисса, и как до него, не потонув, легче доплыть.

Но пока мы глазели-искали этот буёк, нас залило волной осуждающих взглядов, злых фраз польских дам и их кавалеров с отвисшим пузом, и стукнуло друг о друга, как два кремня. Искры из глаз, и — в сердце. Наше сердце полыхнуло скрытым огнём, но так жестоко, как некогда танк попутчика нашего, старика с обожжённым лицом, напрасно вызванивающего медалями в надежде на снисхождение.

«Псякрев!» — донеслось до меня.

«Псякрев!» — донеслось до моего брата.

«Сукин сын!»

Нет, это не кто-то посторонний. Это я, это брат мой — «псякрев!»

Это мы, «сучьи дети», обманули порядочного человека, сунув не ему, а в чужую лапу деньги. Он к нам с душой, открытой нараспашку. А мы в неё — нож подлого жидовского коварства.

Кто?

Мы?

И кто это нам такое? Женщины, ухоженные дамы, направляющиеся на туристический променад в Чехословакию.

Женщины?

Какие же вы женщины?

Вы видели, как наших — еврейских — детей превратили в товар.

Вы видели, как детей наших попутчиков — еврейских детей — бросали на площадку. Бросали ваши носильщики. Деловито, хватисто, как, наверное, бросали бы в печь крематория.

Вы всё видели. И ни слова против?

В ваших глазах написано крупным шрифтом: «КАЖДОМУ СВОЁ», как на воротах Бухенвальда.

Что ж, выхода нет. Мы согласны на своё.

И мы вынули ножи.

Свои ножи.

Мы встали у двери в купе.

В своё купе.

Встали, как на пост у заглохшей от нехватки топлива из «живого мяса» печи крематория.

Больше мы не будем подстраиваться под вас. Не будем искать сочувствия или понимания.

Мы евреи, и только евреи.

Или мы евреи, или нам смерть!

И смерть — эта древняя богиня охотников на человека — вытащила из небытия обойму убийственных фраз.

— Куда податься бедному поляку, когда кругом одни евреи?

— Польше не по пути с евреями, потому что «куда жида ни повернуть, он смотрит в сторону древнего Иерусалима».

Польским дамочкам было не по пути с нами. Проводнику было не по пути с нами. Но он не мог сойти с поезда. Служба у него такая — быть попутчиком евреев.

Попутчиком?

Он счёл нужным им не быть, скинуть нас с поезда. Он подошёл вплотную к нашим ногам и, впитывая кожей их змеиный холодок, сказал:

— Вызвана полиция, и на промежуточной станции вас — безбилетников и хулиганов — выбросят вон со всеми манатками.

— Нас выбросят мёртвыми, — продуло его сквозняком морга.

Проводник поёжился. И предложил расплатиться за проезд — чем богаты. Если кончились доллары, он примет злотые, а нет злотых, не откажется и от рублей.

— С изображением смерти на ассигнации, — пояснили наши ножи.

И проводник притих-примолк. Он ушёл в свою конуру. И долго не показывался оттуда: то ли пересчитывал барыши, то ли наливался шнапсом.

Выгданная передышка позволила нам препроводить по коридору детей в туалет и без потерь — осколочные ранения от взрывной ярости польских дам и их оскорбительных слов не в счёт! — вернуться назад в убежище.

И вновь перед нами вырос проводник, запотелый от полноты чувств.

— Ваше купе, как и все прочие в вагоне, — сидячее. Оно на восемь человек. Сейчас будет остановка. Вы должны потесниться, уступить места новым пассажирам.

Он говорил. Он косился на ножи. И ножи дали ему понять, что ни для пассажиров, ни для полицейских свободных мест в нашем купе не предвидится.

И была остановка на какой-то польской станции. И была посадка. И было то, чего случиться по теории вероятности не могло. Но случилось. Случилось в соответствии с другой теорией, тоже еврейской по существу, но совершенно невероятной.

Поляки, не понимая происходящего, проходили мимо нас — меня и моего брата, — не имея возможности даже заглянуть в наше купе. Проходили мимо нас, мимо наших ножей и усаживались на чемоданах в проходе.

Не голоса — дизеля ревели: «Польша закрыта! В Польше нет уже свободного места для поляков! Куда деваться бедным полякам, когда их места в купе скорого поезда, идущего по территории Польши, заняли жида?»

Некуда поляку деваться, когда у еврея нет запасного выхода.

Еврею надо стоять насмерть. Или встать на колени.

Колёса стучали: «Смерть! Смерть! Смерть!»

Приближался конец. Приближалась граница с Чехословакией.

И вот она, граница. Ныне для меня не столько географическое понятие, сколько граница жизни и смерти.

Проводник понёсся по вагону.

Что это он? Собирается сыграть тревогу?

С чего это он такой взволнованный и красный?

Стряслось что?

Ничего не стряслось! Просто-напросто он раздаёт посадочные талоны.

Он! Раздаёт! Евреям! Посадочные талоны!

Те талоны, за которыми гонял нас на вокзал.

Те талоны, вместо которых требовал от нас доллары.

Мы отказались от посадочных талонов. Я и мой брат Борис.

Мы сказали:

— Пусть нас забирает ваша полиция. Мы примем бой.

И подняли ножи на уровень груди.

Это было для него слишком. Он стал умолять нас быть людьми. Ибо, если мы не будем людьми, с него снимут голову.

Мы не хотели быть людьми в понимании этого гада. Нас не занимала участь его головы.

И тогда он чуть не изошёл пеной. Нас колыхнуло пивным прибоем. На своём хребте приборой принёс: надо учесть, что у него маленькие дети, и в случае, если его лишат работы, они будут пухнуть от голода.

А доллары? Какие доллары? Ах, те самые, еврейские. Да ведь доллары есть не будешь. И к тому же их надо сдавать. Куда? В известное учреждение. В Большой Дом...

Доступно, не правда ли?

Но мы — я и мой брат Борис — отказывались понимать его доступную правду.

Видя это, проводник сказал своё «псякрев!» И со злостью бросил нам под ноги посадочные талоны.

Два жёлтых листка лежали на затёртой ковровой дорожке. Две жалкие бумажки, похожие на осенние листья.

Мы не нагнулись за ними... Теперь мы были уже не эмигрантами, израильтянами были.

Так мы думали, и не ошиблись.

Александр Рыбин

Два рассказа

Ангел войны

Посвящается военному лётчику Роману Филиппову, погибшему в Сирии

«Пятнадцать трупов. Двое без голов. Надо их закопать, чтобы никто не узнал», — говорил по-арабски мужчина лет сорока в полевой форме капитана турецкой армии. Аккуратно выбритый — ни усов, ни бороды, стрижка полубокс. На поясе пистолет, в левой руке рация. Слушавший — внушительная борода, усы выбриты на ваххабитский манер, сероглазый, длинноносый, чёрно-белый платок намотан вокруг головы, из-под платка выщипанные волосы до плеч, потёртая форма советского образца, разгрузка, набитая запасными магазинами к автомату Калашникова, за спину закинут сам автомат. «Арабы — христиане, ассирийцы. Обезглавленные — езиды. Мы только договорились с русскими, что у вас перемирие с правительством. Их похитили и казнили кавказцы из России. Настоящие выродки. Очень жестокие. Сейчас залегли на дно где-то в Идлибе. Трупы оставили в заброшенной школе, дам тебе отметку на карте. Мои ребята их случайно обнаружили, один местный подсказал. Их надо обязательно закопать, мало ли кто ещё найдёт. Что знают двое, узнает и третий», — пояснил капитан. «Шишани убили?» — спросил слушавший. «Разные. У тебя в отряде есть кто-нибудь из России? Я помню, есть», — капитан хлопнул правой рукой себя по нагрудному карману, — пусто, хлопнул по накладному карману брюк, достал сигареты. «Двое из Узбекистана». Капитан предложил сигарету собеседнику. Тот, приложив правую руку к сердцу, отрицательно помотал головой. «Узбеки — другое. Почти как турки, — улыбнулся капитан. — Но всё равно лучше их на дело не бери. Своим особо никаких деталей не доводи. Кто, зачем, почему. Дело надо сделать максимально тихо. Русские узнают — конец перемирию. Будут вместе с армией Башара снова наступать на вас. Считай, и на нас тоже. Понимаешь, Ахмет?» Ахмет кивнул. Капитан прикурил сигарету от пластмассовой зажигалки с изображением Ататюрка в папаче.

Семь пикапов-тачанок, крупнокалиберные пулемёты установлены в кузовах, пылили колонной по просёлочной дороге. Солнце близилось к закату. Ахмет в первой машине — за рулём. Из автомагнитолы звучала проповедь. В каждом кузове два-три

Александр Рыбин родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области. Окончил филологический факультет Тверского университета. Печатался в литературных журналах, в т.ч. «Неве», «Звезде» и «Новом мире». Проживает от Аддис-Абебы до посёлка Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе — увлечения жизнью к тому обязывают.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 1.

боевика с оружием, обряжены кто во что горазд — у одного вообще чёрная футболка с надписью стразами Fuckin' Rich. Сидели на бортах. Машины подсакивали на ухабах. По сторонам от дороги оливковые рощи. Длинные тени от деревьев напоздали на дорогу. Проехали мимо жёлтого саманного дома. Перед домом сидел на стуле со спинкой старый сморщенный бедуин: красно-белый платок намотан вокруг головы, тёплый чёрный халат-чапан, из-под чапана торчали выдавшие виды кеды неопределённого оттенка. Бедуин переглядывался с боевиками, поднял приветственно руку. «Салам».

«Место, где их хоронить, кто выбрал?» — спросил сидевший с Ахметом в кабине боевик, между коленями у него — американская М-16. «Тоже он, капитан Озджан. Я предлагал Фуа, на старом шиитском кладбище, но он сказал, что лучше ближе к Серакибу. Говорит, что там место менее приметное, иногда тяжёлую технику перегоняют, следы ямы быстро укатают, никто найти не сможет», — объяснил Ахмет. Разговаривали на арабском. «На кладбище разумнее, конечно. Мёртвые к мёртвым должны быть. Плохо, когда они под живыми лежат, в джиннов превращаются», — заметил боевик с М-16.

Въезжали в разгромленный посёлок. Руины зданий, пробитые саманные и каменные заборы, смятые или продырявленные металлические листы. Граффити радикальных группировок на разных языках. «Bosna je muslimanska država», — и рядом жёлто-синий прямоугольник флага Боснии. На следующем перекрёстке: в человеческий рост красный флаг с чёрным двуглавым орлом, на стене надпись Kosova Republikë. «ИГИЛ — красава», — на русском. «Güney Turkestan», — рядом чёрными линиями примитивное изображение волчьей головы. Галерея многолетней международной войны.

Люди на улице не попадались. Из живых — лишь худые грязные собаки. Один из боевиков, сидевших в кузове, выстрелил в одну. Попадание откинуло её, завалило на бок. Псина отчаянно заскулила, дёргая лапами, словно пытаясь убежать. Ахмет высунул из окна кулак и погрозил, глядя в боковое зеркало заднего вида.

Подъехали к побитому многочисленными попаданиями двухэтажному зданию, часть крыши сложилась внутрь. Перед ним похожий на луноход броневик «Ошкош». Возле броневика трое солдат в униформе, масках-балаклавах, нашивки турецкой армии. Поверх бронезилетов у каждого винтовка М-4 с оптикой. Один из солдат показал, куда парковаться тачанкам: вбок, чтобы не перегораживать дорогу броневнику.

«Где они?» — спросил Ахмет солдата, не вылезая из машины. «Арабджа мафи, мафи», — ответил солдат, мешая арабский с турецким. Он помахал рукой в сторону входа в здание: «Аскери комутан орада». Ахмет покачал головой и пробубнил: «Столько лет у нас торчат, а язык выучить не могут, какие же ленивые». Он захлопнул дверь машины и сказал громко, чтобы слышали все его боевики: «Я с Талялем внутрь. Вы пока ждите здесь». Боевик с М-16 пошёл за Ахметом. «Нереде?» — спросил Ахмет солдата. Тот показал, чтобы следовал за ним.

Бывшая школа: по стенам в холле рисунки книг, ручек, карандашей и значки химических элементов. На стене напротив входа — портреты двух сирийских президентов: бывшего Хафеза Асада и действующего, его сына Башара Асада, глядят на входящих. К их головам пририсованы дьявольские рога и ругательные подписи арабской вязью. Повернули налево, шагали по коридору. Двери в кабинеты выломаны, окна разбиты, местами в оконных проёмах уложены мешки с песком и каменные блоки. Пахло отвратительно: вонь испражнений, гниения, блевотины и чего-то столь же приторно тошнотворного. Под ногами хруст битого стекла, обломки всего. Солдат подошёл к закрытой двери, постучал и громко произнёс: «Араблар бурада». «Йалла, вълкам», — ответил голос из-за двери. В кабинете турок-военный торопливо натягивал зелёную маску-балаклаву. Он сидел за столом, в пепельнице дымилась до половины скуренная самокрутка: сладковатый запах ананаса. Початая пластиковая бутылка с водой, возле

неё чёрная рация, из которой — переговоры на турецком. «Салам». Боевики и военный обменялись рукопожатиями.

Трупы, уложенные в ряд на пропитавшиеся кровью грязные матрасы, находились в тёмном, лишённом электричества подвале. Смерд тления некогда живых существ, арабы прикрыли носы руками. Турок-командир светил фонариком. Мужчины, женщины, подростки. Одежда нескольких женщин и подростков изодрана в клочья. Беспорядочные пулевые отверстия в каждом теле — в основном ближе к сердцу. Немного дальше других турок освещал два обезглавленных тела и женщину с отрезанными грудями. Недовольно поцокал языком. Присел на корточки, взял брезгливо двумя пальцами за край одного из матрасов: «Сжечь обязательно. Анладым ма?» Ахмет кратко кивнул и приказал Талаялю, не оборачиваясь, через плечо: «Зови людей, пусть грузят. Скажи, чтобы развернули брезент. Тела будут укладывать сразу под брезент».

Семь пикапов-тачанок ехали через ночь. Свет фар первой машины выдирали просёлочную дорогу из темноты. Шедшие следом машины затягивало клубами пыли. Боевики в кузовах закрыли носы и рты платками то ли от пыли, то ли от тяжёлого смрада мертвечины в безветренном воздухе. Под ногами бугрился брезент. Грязные тактические ботинки боевиков давили на спрятанные тела. Вдали слева мигали красные всполохи — разрывы снарядов и ракет: разборки группировок или горел склад боеприпасов.

Ведущая тачанка остановилась, погасила фары. Остальные тоже встали. Сразу наступила тишина. Лишь отдалённый ухающий звук разрывов. Ахмет вылез из салона. Прошёл к третьей машине. Негромко заговорил, обращаясь к боевику на водительском месте: «Надо проверить, кто сейчас там есть. Бери двоих и сходите прочешите окрестности». Боевик вылез, позвал двоих из кузова, прицепил рацию к разгрузке. Трое исчезли во тьме.

В ночи двигались огоньки курящихся сигарет. Тихие разговоры по-арабски. Зашипела рация: «Ахмет, спокойно. Все спят. В нашем доме никого». Ахмет поднёс рацию к губам: «Тамам. Ждите, мы едем. — Обратился к боевикам: — Погнали».

Жёлтое солнце всходило над холмистой серой равниной. Хутор из пяти саманных домов, раскиданных в нескольких десятках метров один от другого. У каждого дома — огороженный глухой стеной двор. В одном из дворов — ворота заперты — семь пикапов. Пятеро боевиков сидели на стульях. Курили кальян. На подносе, поставленном на землю, чайник и прозрачные стаканчики, керамическая чашка с сахаром. Боевики показывали друг другу что-то на смартфонах, смеялись. Автоматы, снятые с предохранителей, небрежно приставлены к стульям или вовсе на земле. В соседних дворах горланили петухи.

Брезент в кузовах тачанок по-прежнему бугрился от спрятанных под ним мёртвых тел.

Из дома выходили заспанные взъерошенные боевики. Кто-то с голым торсом, кто-то в майках и тренировочных штанах, в шлёпанцах или незашнурованных ботинках. Один сходил за дом и запустил дизель-генератор. Тарахтение заполнило двор. По очереди боевики подходили к умывальнику — железной бочке на металлическом каркасе, к которому приварен электродвигатель. Из открытого крана сильной струёй лилась вода, гудел мотор, нагнетая по шлангу из скважины в бочку воду.

Четыре десятка боевиков, рассевшись в четыре ряда на колени, совершали намаз. Одновременно припадали головами к молитвенным коврикам. Поднимались, держали руки перед собой. Беззвучно шевелили губами. Закончили молитву общим восклицанием: «Аллаху Акбар!»

Боевики ели, сидя на матрасах, вынесенных из дома во двор. На общих блюдах куски жареной курицы, варёный рис, тарелки с салатом, стаканы с кислым йогуртом, стопки тонких круглых лепёшек в целлофановых пакетах. Ахмет гладил бороду и разговаривал по телефону: «В одиннадцать будет на месте? Точно? Давай без Иншалла. Ещё скажи мне “букра, Иншалла”. Мне надо точно. Рассчитываю на тебя, Тамам. Мы приедем вовремя». Выключил телефон. Поднял стакан с недопитым йогуртом. «Э, брат, это — мой, вот — твой», — сказал, улыбаясь, боевик по соседству, узкоглазый и круглолицый узбек. «О, извини, брат. Забери».

Тачанки выезжали со двора. Ахмет стоял несколько в стороне, разговаривал с соседом: старик в бедуинских одеждах — красно-белый платок на голове, чёрный чапан — опирался на деревянную резную трость обеими руками. «Турки сказали, что договорились с русскими, чтобы ни они, ни Башар не бомбили нас», — объяснял Ахмет. «Что турки? Они здесь гости. Приехали, будет тяжело — уедут. Бомбят нас. Устал я от войны, Абу Омар, устал. В мои годы зачем война?» — сетовал старик. «Понимаю, Абу Гамиль, но иначе не добиться законов Пророка. Ты же не хочешь жить под властью Башара? (Не стал ждать ответа.) Никто не хочет. Мы должны бороться и терпеть. Наши братья со всего света приезжают нам помогать. Вон, Идрис, Карим — приехали из России, из Узбекистана помогать нам. Им тоже не нравится, что русские за Башара. Мне пора, Абу Гамиль. Береги себя», — он пожал руку старику, коснулся поочерёдно одной и другой щеками его щёк. Зашагал в сторону стоящей заведённой тачанки. Скомандовал закрывавшему ворота боевику: «Быстрее — быстрее, Мустафа. Йалла».

Колонна пикапов снова ехала по просёлку. Навстречу изредка попадались китайские грузовички и мотоциклисты. Солнце стояло в зените.

Пикапы сгрудились на пустыре позади оливковой рощи. По-прежнему с грузом мертвецов. Ахмет нервно шагал взад-вперёд. Тыкал пальцем в телефон. «Наконец-то! — вскричал он и приложил трубку к уху. — Где ты? Мы уже полчаса как приехали. Какая связь? Где ты? Сколько, значит, тебе ещё ехать? Я пристрелю тебя, клянусь. Ты должен быть здесь прямо сейчас!»

К пикапам, следуя за одной из тачанок, приближался камаз с платформой, на платформе китайский маленький экскаватор. Когда они подъехали к общему скоплению, Ахмет подбежал к тачанке, рывком открыл дверь водителя и грубо выдернул боевика. Повалил его и стал бить ногами. Бил в корпус. После нескольких ударов вырвал из кобуры на боку извлекаемого пистолет и приставил к его голове. «Если я говорю “быстро”, то надо делать быстро! Ты нас всех подставить хочешь?! Ты будешь коз пасти в пустыне, акрут!» Ахмет резко отвел пистолет в сторону и выстрелил в землю. Избитый запоздало прикрыл голову. Из камаза выбрался водитель, ошалело наблюдал за происходящим. «Ты? — Ахмет, глядя на водителя, показал головой на экскаватор. Водитель кивнул и торопливо приложил правую руку к сердцу. — Копай два метра в глубину, пять в ширину. Быстро, быстро. Начинай».

Экскаватор тархтел и расширял ров. Под слоем серой земли в полметра лежал пласт рыжей глины. Боевики, скучая, бессмысленно ходили из стороны в сторону или сидели на земле. Старались держаться подальше от смердящих мертвечиной пикапов.

У Ахмета звонил телефон. На мониторе высветился номер 01. «Салам, Озджан». Он оглянулся на избитого боевика, тот сидел в стороне от остальных на земле, обхватив колени руками, безоружен, его пистолет за поясом у Ахмета. «Вы доделали? — голос турецкого капитана. — Русские что-то разнюхали. Два их самолёта будут сегодня патрулировать ваш сектор. Я только сейчас узнал. Возможно, они вылетели. Ахмет, доделывайте быстрее. Может, час у вас есть. Не знаю. Поторопись. Если они вас засекут, снова начнут бомбить. Будет очень трудно договориться о продолжении

Алекс Тарн

Совпадение

Рассказ

В ту беспокойную интифадную осень моя резервистская служба проходила за баранкой патрульного автомобиля. Мы колесили по горным дорогам Самарии и, в числе прочего, сопровождали школьные и рейсовые автобусы. Предполагалось, что арабских стрелков и камнеметателей должно утратить присутствие армейского джипа, болтающегося за автобусным бампером, подобно консервной банке у кошки на хвосте. При этом банка наверняка развивала куда большую скорость, чем та, на какую были способны вдрызг раздолбанные джипы-«шестёрки». Вечно опаздывающие водители автобусов материли нас, не стесняясь детей, и всё время норовили улизнуть, во избежание чего командир патруля подсаживал к ним в салон бойца, и тот сдерживал мятежного шоферюгу ответными матюгами — к пушму восторгу школьников.

Патрульные «шестёрки» проходили техосмотр еженедельно, и тем не менее то и дело ломались. Ещё бы — лентой их километража можно было забинтовать вселенную не просто вдоль и поперёк, а так, что и звёзд не будет видно. Как-то раз соседняя рота и вовсе обезлошадела, и нам пришлось, подменяя товарищей, захватить далеко за пределы своего сектора. А затем, когда сопровождаемый до безопасной зоны автобус, радостно взбрыкнув, устремился в сторону побережья и мы совсем уже было повернули назад, на связь вышла одна из наиболее вредных офицеров-оперативниц.

— Если вы уже там... — лениво протянула она и замолчала, по-садиестки наслаждаясь моментом.

Пожалуй, нет в армии ничего паршивей подобного вступления. Если ты уже там... поди туда, принеси то, разгрузи это, подмени заболевшего, заведи выздоровевшего, постои на воротах, захвати ящики со снабжением, дожись дождика в четверг, дострой Великую китайскую стену... да мало ли чего может изобрести воображение заскучавшего оперативного офицера! Главное при этом, что все твои первоначальные планы на законный отдых по завершении смены немедленно разлетаются в прах. Если ты уже там... чёрт бы побрал эту мерзкую фразу!

— Сигаль, наше дежурство кончается через двадцать минут... — взмолился командир.

Алекс Тарн — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, откуда репатриировался в 1989-м. Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Живёт в поселении Бейт-Арье (Самария).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 1.

— Отставить болтовню! — оборвала его оперативница. — Если ты уже там, дожись 466-го автобуса. Это по дороге в твой сектор. Как понял?

— Понял! — рявкнул сержант, хотя хотел бы ответить совсем-совсем иначе.

— Конец связи... — нежно пропела штабная зараза и отключилась.

Мы, то есть я, сержант и два бойца-первогодка на задних скамьях, немного помолчали, думая каждый о своём, печальном. Наконец командир вздохнул и похлопал меня по плечу.

— Заезжай внутрь, водилус. Будем ждать.

Водилус. Так солдаты-срочники называли нас, пожилых резервистов, которых армия сажала за руль, потому что резонно не доверяла шоферить девятнадцатилетним сорванцам. Джип-развалюха в их руках и в самом деле был настоящим орудием убийства — куда более опасным, чем полностью снаряженная штурмовая винтовка М-16.

Я посигналил сторожу в будке, чтобы открыл ворота, и мы въехали в незнакомое поселение.

— Поставь колёса вон там, в сторонке, — сказал сержант. — Пойдём попьём кофейку.

Нет и не может быть в Стране такой сторожевой будки, где не нашлось бы чайника, стаканов и банок с чёрным кофе, сахаром и чайными пакетиками. Я припарковался на подходящем месте; тут-то он и подошёл к нам, этот старикан. Подошёл, заглянул в захламлённый коробок джипа и спросил:

— Менахем, ты тут?

— Какой ещё Менахем? — с досадой ответил сержант, снимая надоевшую каску. — Нет тут никакого Менахема, дед. Вот, смотри: меня зовут Омер, а этих двух сосунков — Став и Нафтуль. Есть, правда, ещё водилус. Водилус, ты не Менахем?

— Нет, не Менахем, — отказался я. — Меня зовут...

— Короче, нету, — не дослушав, констатировал командир. — Йалла, ребята, вперёд...

Ребята с грохотом вывалились из джипа. Сторож, довольный возможностью почесать языком, уже призывно махал им из будки. Я заглушил мотор и тоже стал собираться.

— Значит, нету, — разочарованно повторил старик.

— А должен быть?

Он пожал угловатыми плечами — очень высокий жилистый человек с чересчур длинными даже для его роста ручищами и давно не стриженными седыми космами, то и дело падающими на лицо.

— Вообще-то да, — сказал он, откидывая волосы назад и приглаживая их большой узловатой пятернёй. — Менахем — это мой сын. Он у меня в армии, в десантной бригаде.

— Тогда ты не там ищешь, — возразил я. — Десантники сейчас вроде бы дежурят в Газе. А эти мальчишки из сапёров.

Старик кивнул.

— Да, я знаю. Но армия, браток, это ведь такое дело: никогда не знаешь, куда тебя закинет. Бывает, что вся бригада в Негеве, а ты на Голанах. Или наоборот. Ведь бывает?

— Бывает, — легко согласился я. — В ЦАХАЛе чего только не бывает. И всё равно странно. Ты что же — в каждую армейскую машину заглядываешь? Это ж какое должно быть совпадение, чтобы там вдруг оказался твой сын. Сам подумай.

— Совпадения, совпадения... — он помотал головой, и волосы немедленно

хлынули вниз, на лоб и глаза. — Знал бы ты, какие совпадения случаются, браток. Вот, к примеру, у нас в ишуве... Хочешь, расскажу?

Я с сомнением посмотрел в сторону будки. В принципе, туда не больно-то и хотелось. Кофе у сторожей редко бывает хорошим. Мы уселись рядышком на высокий край тротуара, и старик достал сигареты.

— Будешь?

— Бросил.

— А я закурю...

Он щёлкнул зажигалкой.

— Так вот... В то время наш ишув был ещё совсем маленьким — меньше ста семей, не то что сейчас. Сейчас-то на каждом шагу незнакомые лица попадают, а тогда — нет. Тогда все друг друга знали по именам, близко. И вот тебе первое совпадение: было у нас целых четыре семьи с фамилией Шамир, а у них — два парня-ровесника, полные тёзки. Представь: два Ави Шамира, полные тёзки, одного года рождения, и при этом никакие не родственники.

— Ну, это не Бог ведь какое совпадение, — усмехнулся я. — Ави Шамиров у нас, считай, четверть Страны. И ещё треть — Ави Коэны.

— Верно, — согласился старик. — Но это только начало, слушай дальше. Секретарём нашего ишува был тогда Ноам Даян...

— Кстати, Даянов тоже выше крыши, — заметил я. — Какой-то у вас образцово-показательный ишув.

Он серьёзно кивнул:

— И снова ты прав. Хотя правильней было бы сказать: образцово-обычный. Таких в Стране десятки. Типичное место, типичные люди, типичные совпадения...

— Э, нет, до типичных совпадений мы ещё не дошли, — шутливо напомнил я. — Два Ави Шамира не в счёт.

— Когда началась Ливанская война, они оба были в армии, — продолжил старикан. — Один вертолётчиком, другой в пехоте. И вот, представь: как-то рано поутру стучат в дверь нашего секретаря Ноама Даяна люди в армейской форме — из тех, которые приносят самые горькие вести на свете. А у Ноама тоже сын на фронте, и потому жена его Сильви в полуобмороке уже от одного этого стука. Ноам идёт открывать, и по дороге от спальни к входной двери седеет на треть головы.

«Ради Бога, извините, — говорит ему стоящий на пороге офицер. — Хочу сразу сказать, что мы не к вам. У вас всё в порядке».

«Сильви, всё в порядке! — кричит Ноам жене. — Ничего не случилось!» — и только потом снова поворачивается к незванным гостям, чтобы задать им такого жару, какого не бывает даже на самом большом тайманском мангале в День независимости.

«Тогда какого хрена вы ломитесь сюда, сукины вы дети? — спрашивает он. — У вас что, доля в фирме, продающей краску для седых волос?»

«Извините, — уже намного твёрже отвечает ему офицер, — но вы ведь секретарь этого ишува? К кому мне ещё обратиться, если на домах тут нет номеров, а улицы вообще без названий?»

Что, браток, было на тот момент чистой правдой. Три улицы? Ха! Эти худо-бедно асфальтированные дорожки мы и за улицы-то не считали. Да и дома различались только по именам хозяев: дом Лангера, дом Даяна, дом Питуси... Вся почта приходила в секретариат, забирали оттуда. Уверен, что и известие, которое принесли эти трое в армейской форме, они предпочли бы передать не напрямую, а через какой-нибудь

Андрей Ломовцев

Простые разговоры

Рассказ

На озере вечерело. Потянуло от воды прохладой, и Арлан Кошкаров, молодой радист с густыми бровями на круглом покрытом оспинками лице, неделю назад прибывший в часть, поёжился. Вдали гроыхнуло, и лягушки, тянувшие песнь вдоль берега, испуганно замолкли, горизонт за лесом осветился всполохом разрывов, словно зарницей.

Арлан оглянулся, потянул носом запах костерка с кухни, где два повара в грязно-серых примятых колпаках ловко шинковали рыжую морковь в широкое, чёрное от копоти ведро.

Похлебаем супчика, подумал Арлан, вспомнив, как лейтенант Михеев из артразведки, шустрый мужичонка с воспалённым взглядом, занёс поварам в обед двух жирных селезней. Кошкаров поправил пилотку, в животе предательски заурчало, и он побоялся, что сержант Совхоз Мамедович, сидящий напротив с прижатым к уху наушником, услышит. До ужина далеко, Арлан только закончил изучать матчасть радиостанции РБ-2 и приступил к запоминанию дешифровочных кодов. Голова соображала туго.

Он встряхнулся, попытался настроиться, отогнать мысли о еде, хотя это было невероятно сложно, с толку сбивал запах костерка. Но коды — дело ответственное, требующее внимания, и он старательно запоминал комбинации, мысленно их проговаривал и старался привязать смещающиеся буквы к знакомым образам, так показалось надёжнее. Например, А это — Г.

Г — гуруч, рис. По воскресеньям, с утра, отец, маленький, худой, с залысиной на макушке, в круглых очках со сломанной дужкой, готовил плов. Брал кусок курятины вместо баранины, зиру заменял тмином, вымачивал обычный рис-лазер и с тоской вспоминал сорт девзира, лучший для плова. Уверял Арлана, с жадностью глотавшего слюни, что когда-нибудь достанет пару горстей настоящего ферганского,

Андрей Ломовцев родился в Подмоскowie в стране, которой нет. В период «крушения империи» построил баркас и отчалил в море бизнеса. Учился на психолога. Ночами писал сказки, на лекциях — стихи. Уехал в Индию — искать путь просветления в йоге. Искал долго, с фонариком в позе лотоса. Нашёл политическую карту мира и биржевой справочник. На всякий случай научился читать справочник и торговать золотом. Объехал полмира и нащупал путь в литературу. Печатался в журналах «Волга» и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

рассыпчатого, белого, как мука, риса. Арлан не различал сорта, послушно кивал, какая разница, в руках отца любой рис казался одинаково вкусен. Барбарис, кумин и шафран — специи на вес золота, не достать и в городе, их отец только перечислял, напоминая, видимо, самому себе, как оно должно быть — правильно. Добавлял щепоть острого перца, чёрного перца, сладкого перца, сушёный помидор и подавал в маленьком дымящемся казане.

Арлан сглотнул слюну, рису бы пожевать не помешало. О еде он думал постоянно; с утра на построении в воздухе, казалось, витал запах картошки, во время занятий по оружейной подготовке в запахе оружейного масла ему чудился приглушённый аромат жареного мяса, по дороге к кухне и обратно — будто кто-то затевал пирожки в густом бору, тянущемся вдоль озера. И даже за пусть скудным, но завтраком, неплотным обедом и уж совсем скромным ужином, когда глотал жидкие каши или жевал плохо сваренную кислую капусту с чёрствыми сухарями, Арлан всё равно думал о еде. Вот и сейчас не мог сосредоточиться, а надо запоминать коды. Б — это буква В.

В — ваджа, подливка из бараньего жира и овощей. Он кушал её два раза в жизни: на свадьбе брата отца, дяди Улумбека, и в день рождения близнецов. Свадьбу он почти не помнил, те дни, наполненные радостью и ребячеством, пусть не всегда сытые, были будто из другой жизни, которая происходила не с ним, а просто с похожим мальчиком. А вот рождение близнецов случилось словно вчера. Отец на радостях принёс откуда-то кусок баранины, не иначе продал обручальное кольцо, денег в семье отродясь не было, и возился всю ночь, готовя ваджу, чтобы с утра покормить мать.

При воспоминании о матери защипало в глазах. Маленькая, худая, словно девочка-подросток с длинной косой и круглыми щеками, сколько Арлан её помнил, постоянно ждала ребёнка. Ходила с животом, словно под широкой туникой прятала невызревший арбуз. Суетилась, не сидела на месте; выбивала пыль из матрасов, сушила на солнце коврики, варила жидкие похлёбки из чечевицы, добавляя искрошенный чеснок и луковую шелуху. Валилась к ночи на матрас и замирала, и, если не шуршал в соломенной крыше ветер, можно было уловить её тихие всхлипы.

Дети рождались маленькие, со сморщенными лицами и скрюченными пальчиками, словно хотели схватиться за жизнь, а та ускользала, не давая шанса. Молоко у матери не приходило, младенцы умирали молча, не открывая глазок. От них оставались мелкие холмики на пустыре. Выжили последние, близнецы.

Арлан замотал головой, отгоняя видения, щурил глаза и вглядывался в листок кодов. З — это буква К.

К — ковок, тыква. Как он обожал обжаренные кусочки, тушённые в сметане. Они источали настолько густой аромат, что впору было захлебнуться слюной задолго до полной готовности. Оранжевую, словно солнце на закате, тыкву приносил отец, менял на палочки-трудодни в колхозе. Трудодень приравняли к пяти рублям, и половину из заработанного выдавали продуктами, часто подпорченными, а хорошие шли на фронт. Арлан после окончания школы спины в поле до заката не разгибал, прилежно собирал чернильные трудодни в книжку, подсчитывал, сколько молока сможет взять близнецам, хватит ли на кукурузу и горсть-другую риса. Он вспомнил про молоко, и завертелась слюна во рту. Буква Д — это Ж.

Ж — жизали-нон, слоёная лепёшка со шкварками. Он успел позабыть их вкус, но точно помнил, что шкварки любил измельчённые, жаренные с кусочками помидора и тёртым белым сыром. Последний раз тётушка Нурия, сестра матери, на день рождения пекла. По её просьбе Арлан ходил загодя в степь, подальше от кишлака, рубил янтак — верблюжью колючку, и сушил на жгучем солнцепёке; хорош янтак для

тандыра, хлеб от него ароматом степных трав напитывается. Поджаристый, золотистый бок лепёшки всплыл в сознании, и он провёл языком по зубам, выискивая вкус тех шкварок и сыра.

Арлан взглянул на сержанта, не слышит ли тот бульканье в его животе. Что подумает о нём боевой радист с нашивкой за ранение и потёртой медалью «За боевые заслуги»? Скажет: какой несмышлёный юнец, с трудом запоминает коды, голова забита золой.

Совхоз Байрамов склонил к ящику радики широкое лицо с ямочками на щеках, поджал обветренные губы. Вслушивался в пищание, скребущие и вибрирующие звуки эфира. Наушник давил на левое ухо, и голова гудела набатом. Карандашом он чертил знаки во влажном блокноте, и первое время ловил ещё эти точки-тире-точки, и только потом услышал запах. Желудок огрызнулся, вскипел, потянул кожу к рёбрам, похоже, повара закинули в ведро селезней. Он тоже видел весёлого лейтенанта в полевой фуражке набекрень, говорят, меткого в стрельбе.

Пробежали мимо взбудораженные радисты, гремя катушкой в руках и оборачиваясь в сторону кухни. Каски их сбились на потные лбы, винтовки громяхают за спинами.

Совхоз Мамедович махнул им рукой, поздоровался — свои ребята, знакомцы. Снял наушники и полез было за табачком, да вспомнил, что табак два дня назад как закончился. Огорчённо хмыкнул и кивнул Арлану:

— Видал орлов, второй взвод — из дивизионных. Телефонисты. Тяжкий труд, на передовой изо дня в день, так что повезло тебе, что к нам попал, вот распределили бы к дивизионным, бегал бы по полям, точно заяц. Так что учи коды. Чтобы ночью снились.

Арлан закивал, соглашаясь. Ночью ему снилась хурма. Снилось, что он просыпается в душной комнатке от света луны в маленьком узком окне, в углу которого на переплёте деревянной рамы застыл паучок. На фоне луны — тонкая ветвь с зеленью листика и яркий оранжевый шар. Глиняные стены пахнут травой и мелом, по соломе, уложенной на земляной пол, ползает муха. Арлан знает, что плод созрел. Каждое утро он срывает парочку таких нагретых на солнце шаров для себя, братьев и бабушки Жазгуль. Режет шарики на ровные, сочные и слегка вяжущие дольки. Не трогает лишь этот, возле окна, любителю на него каждое утро. Сладкий такой сон, вяжущий радостью.

— Я учу, товарищ сержант. На фронт так хочется, побыстрее бы, а.

— На фронт? — улыбнулся глазами сержант, крутя пальцами карандаш. — Успеешь, дорогой, ещё повоюешь, поверь мне. Останется на твою долю.

А вдруг фрицы кончатся, подумал Арлан испуганно. На фронт он засобирался, как только началась война. Не брали по возрасту поначалу, требовали подрасти. Он обижался, переживал, что не убьёт ни одного врага. Решил, вот стукнет восемнадцать — сразу запишется добровольцем. Бабушке только не говорил, не хотел раньше времени Жазгуль расстраивать.

Ходил к зданию правления каждый вечер, слушал, сидя со стариками на пыльной сухой земле, сводки Информбюро. Переживал и плакал, когда отступали войска, оставляли города и сёла. Радовался и кричал, срывая горло, ура, когда удалось прорвать оборону немцев и освободить Можайск. Он представлял этот город — крепостью на горе, с высокими стенами и бойницами и с полыхающими немецкими танками под этими стенами.

Когда объявили дополнительную мобилизацию, первым пришёл в правление. Бабушка не плакала, слёз уже не было, моргала иссохшими на солнце ресницами, шептала молитвы. Он обещал, что обязательно вернётся, братьев поднимать надо. На пункте сбора, в Андижане, собралось море добровольцев, облепили вокзал, словно мухи, вонь, пылица, духота. Военные в фуражках нервничали, ни о чём не спрашивали, записывали фамилию в журнал и отправляли на погрузку. Арлану дали мятую флягу с водой, буханку чёрного хлеба и распределили в эшелон на Урал, в далёкий Челябинск, на завод. Он заплакал — как, у него семь классов за плечами, по-русски хорошо понимает. Дёрнул тогда за рукав вспотевшего лысого майора, объяснил, заикаясь от волнения, что работал в правлении телефонистом. Если честно — соврал, да кто проверять станет в такой толчее. И его отправили на курсы связистов. Повезло.

Арлан взглянул на командира, потом на блокнот и улыбнулся.

— Товарищ сержант, да вы портрет нарисовали, красиво как, это жена ваша?

Байрамов удивлённо посмотрел на листок. Отложил карандаш.

— Сестра Фарида, бачы по-нашему. Старшая, скучаю по ней, вместо матери растила.

— А у меня два брата остались, по четыре года, и бабка.

Арлан прижался губами к холодной переговальной трубке рации, представил, вот бы поговорить сейчас с бабушкой Жазгуль, расспросить о непосадах-близнецах. Бегают ли они за овраг, много ли находят колючки и сушняка для печи, присматривают ли за грушей и айвой, что высадил отец вдоль пересохшего арыка. Вспомнилось лицо бабушки, серое, в мелкой сетке морщин, редкие волосы собраны в пучок, неторопливая речь. Он задумчиво опустил трубку.

— Мать после родов схоронили, так и не узнала про войну. И хорошо.

Сержант втянул широкими ноздрями запахи со стороны кухни, желудок вновь взволнованно поджался. Байрамов положил узкие ладони на холодный корпус рации, будто проверял целостность металла.

— Фарида у меня бозартму из курицы делала, ох, пальцы оближешь, как говорится. Вообще — это жаркое, но если воды побольше долить, то суп. Там и морковь, и сладкий перец, и сушёная алыча, тимьян, кинза, укроп, сливочное масло, ну и курица, конечно. Ох и вкусно.

Арлан сконфуженно заулыбался, вскинул чёрные брови.

— А у нас, товарищ сержант, это — шорпо называется, и продукты те же, по-другому готовим. У меня бабка любит шорпо делать, и так у неё это ловко получается, кто ни пробовал, все нахваливали.

Арлан подумал, что пойдёт учиться на повара после войны, хорошая профессия, сытная, счастливая, наверно. И близнецам понравится. Будет баловать неспешных, задумчивых с широкими глазами братьев — гилминди, блинчиками с маленькими дырочками, куда затекает ароматное подтаявшее масло. Арлан верил, что после победы масла будет вдоволь.

Сержант кивнул, глядя в лицо молодого радиста.

— Не удивлён, в одной стране живём, Арлан. На Новруз Байрам Фарида пекла необыкновенно вкусные шор-гогал. Это, знаешь, слоёные булочки, поджаристая корочка снизу, слои хрустящие и вкус в меру солоноватый. А какой шакер чурек, песочное печенье по-нашему, подавала к чаю, так и таял на языке.

— А я любил самсу в тандыре печь, — мечтательно протянул Арлан. — У нас за дорогой овраг, там жёлтая глина, тягуча, как мёд, и запах такой же, свежо-пряный. Мы с отцом тандыр за домом сложили, подальше от чужих глаз. До войны каждую

субботу тесто месили, самсу пекли, с картошкой, зеленью да овощами. Вкусно. Собирались большим семейством, дядя приходили, жёны их, дети. Жгли костерок и засиживались допоздна, наговориться не могли, словно предчувствовали, что нескоро придётся вот так посидеть.

Он растерянно замолчал, стоило ли говорить сержанту, как перед самой войной арестовали отца, колхозного счетовода, обвинённого в растрате. Арлан вспомнил, как отец, порядочный до крайности человек, выговаривал ему за принесённую домой полураздавленную тыкву с колхозного поля, что, мол, и она учтена и надлежит сдаче государству. И ведь не позволил оставить, отнёс лично на склад. С продуктами уже было плохо, лето выдалось сухое, урожаи риса и пшеницы гибли на глазах, а кукуруза пожухла и завяла. В октябре 40-го года, Арлан помнил, что день случился ветреный, холодный, как два красноармейца увезли руководство колхоза и бухгалтера в райцентр. И пополз слух о растратах и измене родине. Арлан не понимал, что мог растратить отец, впроголодь кормивший семью, и кому мог продать тайны председатель, прыгающий по кишлаку на костыле, и главное — какие. А потом началась война.

Арлан и Совхоз Мамедович вспоминали лакомства мирных времён, поглядывали на поваров, на отблески огня в озере, и всё ждали, когда же позовут на ужин. Шифровальные коды, устройство раций и прочая боевая подготовка были оставлены на завтра, уступив место ожиданию столь желанной еды.

Повара, закурив, лениво мешали густое варево, роняя в наступающие сумерки огоньки папирос. Прогуливались, точно случайно, небритые хлопцы из разведки, выходил из дальнего блиндажа юркий интендант и потягивал шумно носом. Промелькнул мышкой штабной писарь. Все ждали ужина.

До конца войны Арлану оставалось нахлебаться тины в болотах под Могилёвом, отшагать по развалинам Минска, принять две пули в боях за Варшаву, отлежаться в госпитале и догнать часть под Лешно, чтобы обрести покой на улице Франкфурта от выстрела юнца из гитлерюгенда. В мае 45-го, ему бы исполнилось двадцать лет.

Андрей Дмитриев

Фотография еды

* * *

Кто сказал, что ты поэт?
Ты сказал, что ты поэт?
Нет, ты лишь фотопортрет
некого скитальца,
где с обратной стороны
твои буквы сочтены,
твои цифры сочтены
на коротких пальцах.

Кто сказал, что жил не зря?
Ты сказал, что жил не зря?
Мошка в капле янтаря
скромно промолчала,
как молчала миллион
лет, не находя резон
вставить реплику про сон,
ценный лишь началом.

Кто сказал, что ты в игре?
Ты сказал, что ты в игре?
Мяч, забытый во дворе
только с виду — глобус.
Шишел-Мышел — вышел вон.
Переполнен стадион,
где всегда один закон —
проигравших в пропасть.

Кто сказал, что ну и пусть?
Ты сказал, что ну и пусть?
Вроде как отбросил грусть
в самый ближний угол.
Дождь топил, теперь вот снег
заметёт изнанку век,
чтобы видел только бег
лыжников по кругу...

Дмитриев Андрей Николаевич — поэт, журналист. Родился в 1976 году в г. Бор Нижегородской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Автор четырёх сборников стихов, в том числе «Африкаснег» (Владивосток, 2016) и «Глубина тиснения» (Нижний Новгород, 2018). Живёт в Нижнем Новгороде.

* * *

Сорвалось с языка —
полетело за облака,
где лебединая сталь крепка,
хотя бы пока...
Чиркнуло по трубе,
на которой ни А, ни Б,
прежде лайнером взяв разбег,
как по судьбе.

Но закончилось «Мимино» —
здесь давно уж другое кино.
Титры пересекают окно,
опускаясь на дно.
Слово, ясно, что не воробей,
полетело и — хоть убей —
не поймает его средь ветвей.
Скажут: проще гонять голубей —
только надо ли это тебе.

Так работает с нами речь.
Мы её иль она извлечь
нас желает? С той мыслью лечь
спать, что голову сунуть в печь.
Этой сказке ещё не конец:
слушай, раз уж такой молодец,
хоть ноябрь, как леденец,
за щекой заострился весь.

* * *

Срезали скульптуре голову,
а на мраморном пеньке
тут же разместились голуби,
с шумом выйдя из пике.
Обезглавленная статуя
ожила посредством крыл,
так что гулек простоватыми
зря считает царь горы.

Встанешь посредине площади,
из которой ввысь росла
глыба всадника и лошади,
подпирая небеса,
и почувствуешь, что катится,
омрачив сизифов труд,
голова, но следом (как тебе?)
птицы тучные снуют.

В детстве шла экранизация
«Всадника без головы» —
та, которой так боялся ты,
ритм фантома уловив,
что верхом над чёрной пропастью
удалялся за экран.
Вот такой же мерной поступью
день и движется с утра.

Безголовый чей-то памятник
след античности хранит.
В небо смотрит нищий с паперти
сквозь скульптурный монолит,
на который сели голуби
сизым перистым венцом,
но привычней бы на голову,
хоть и с каменным лицом.

* * *

Фотография еды —
 как кувшинка из воды,
 обрамлённой камышами,
 где прибрежный ветер шарит.
 Натюрморт не ищет форм —
 только на ужимки скор
 да на тусклый отблеск вилки:
 в этом смысле он — улика
 ритуала, что роднит
 общество и общепит.

Здесь — лучок, а там — тунец,
 и готовил, явно, спец.
 Посмотри, что чтит гурман,
 предвкушая каждый грамм.
 Это, брат, не редька с Федыкой.
 Суть — в меню, а не — заметь-ка —
 в шествиях вокруг стола.
 Да, здесь логика проста.
 Фотография еды —
 миру знак: мол, съешь не ты.

* * *

Измельчали чайники —
 не вмещают чаяния отчаявшихся.
 Снег над городом — над Почайной,
 спрятанной под землёй —
 её русло только зимой
 и проступает там,
 где Минин на картине Маковского
 собирает войско
 ударить по ляхам да
 по самозванцам,
 засевшим в Москве,
 чью крепость строили итальянцы.
 Теперь бы хоть маленький сквер
 отвоевать у благоустройства —
 маленький сквер
 просто...

Но мы, вроде, про чай.
 Ах, да: чай-чай, выручай.
 Белый пар —
 еле приметный
 над ободом кружки —
 будто облако. План —
 представить, что здесь ещё лето,
 в котором над дождевой лужей —
 тёплой, как молоко
 парное —
 дрейфует пышное небо.
 Это легко,
 но порою
 и лето играло на нервах.

Измельчали чайники,
 хоть с кирпичами
 сходны по весу,
 да мало в них места
 для свежей заварки
 и бурного кипятка.
 Проснёшься завтра,
 а бодрости — ни глотка...

* * *

А потом и мы умрём,
почернев, как терпкий ром,
правда, может, серебром
сквозь стекло бутылки
напоследок проблеснув.
Бесы режут колбасу
на закуску этих сумм
горьких граммов пылко.

Что до ангелов — то им
больно видеть едкий дым,
подтверждающий: горим.
Город — лепрозорий.
Нить напряжена, как нерв,
и красна в твоём окне:
ты его к зиме заклеи —
всё ослепнет вскоре.

Над кварталом — облака:
не синоним нам пока
этот сгусток, хоть строка
текста всё туманней.
Провожаем в мир иной,
поминаем то вином
вкупе с рулькою свиной,
то главой в романе.

Нам ещё полы мести —
чистоту вещей блюсти,
воплощая на кости
бренность организмов.
Всюду — дискурс, тренды, хайп,
а умершим-то начхать —
только слышим их «ха-ха»
где-то за кулисой.

Вот и мыслится: зачем
гроздь брелоков на ключе?
Труп истлеет и в парче.
В ноябре — всё тошно,
да к тому ж — чума вокруг.
Улетели ли на юг
птицы, хоть и там каюк?
Думай о хорошем...

Владимир Тренин

Прощение филина

Рассказ

Мне явился филин. Я извинился, что убил его.

— Прости, — шепнул я.

Вздохмаченная, большая и недовольная птица взгромоздилась посредине стола, прыгнула на кастрюлю с тушёнкой, распушила крылья, укоризненно пялясь огромными оранжевыми глазами, ухнула в ответ и отвернулась. Внезапно я почувствовал жёсткий тычок в висок, открыл глаза. В табачном дыму утопали Кузя и Аксель, а где-то справа гудел дядя Коля.

Оказывается, я отключился и не заметил, как Купцов вытащил пистолет и приставил к моему уху. Разогретая в кармане сталь ёрзала по левой стороне головы.

— Достал, так стреляй, — тихо сказал я.

Мне было всё равно, я устал пить и ужасно хотел спать.

— Хватить дурить, Васька, покалечишь парня, — впечатал стакан в засаленную клеёнку буровой мастер Аксель Рутелев.

— Не ссыте, обойму снял, — буркнул Купцов.

Он водил стволом по моей щеке, касался мочки уха, ерошил волосы на затылке.

— Если не заряжен, зачем грозишь? — я оттолкнул его руку.

— Наглая пошла молодёжь, — засмеялся Купцов. — Что вы знаете о жизни... — реплика внезапно прервалась.

С резким чавкающим звуком, словно включили аудиодорожку ударов из индийских боевиков, ему в лоб влетела палка докторской колбасы, наш стратегический бутербродный запас, — сработала немецкая выучка дяди Коли Циммера. Твёрдой шофёрской рукой он направил снаряд точно в цель.

Купцов дёрнулся, взмахнул «макаровым», переделанным под газовые патроны, и нажал на спусковой крючок. Облако слезоточивой смеси ворвалось в избу.

— «Гибралтар — Лабрадор...» — гремело в колонке, выведенной из кабины ГАЗ-66 в кунг.

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор трёх книг. Рассказы печатались в журнале «Север». Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 7.

Скажите «кунг», а теперь попробуйте ещё раз, сильнее и громче, сожмите лёгкие, до самых маленьких альвеол, воздух устремится вверх и вырвет из связок это короткое сильное слово — «КУНГ». Слышишь его и вспоминаешь сны о родном ветре с узких скалистых заливов, представляешь времена, когда жизнь была короткой, сталь длинной, а обещание вождя что-то значило. Выйдите на гранитную скалу и крикните ледяным равнинам: К-у-у-нг! — правда, похоже на боевой клич викингов?

Счастливики, ездившие на ЗиЛе или «шишиге» с закрытым кузовом, знают: кунг — обычный фургон, и эта лексема не из шведского или норвежского языка, а старая аббревиатура от слов «кузов универсальный нулевого габарита». Многие не слышали, но я, друживший со всеми водителями академического автохозяйства, входил в круг посвящённых и обладал секретным знанием.

В тот день в фургоне пахло водкой, овчиной, клюквой, солёным сигом, оленьей кровью и счастьем нового поля.

«Интересно, они догадываются, что наш кунг — это наследие прошлой, более развитой цивилизации, спроектированный замечательными людьми для великого будущего, освоения необжитых районов Земли, потом Марса и других небесных тел с силой тяжести, близкой к земной? А что мы здесь делаем: пьём, едем... и пьём, и едим, спим и пьём», — фантазировал я, вдыхая возбуждающе наэлектризованную хищную атмосферу, и глупо улыбался, крепко сжимая стакан, смотрел в лица товарищей.

Заметив мой потусторонний взгляд, подмигнул буровой мастер Аксель Рутелев.

«Аксель такой хороший, добрый».

— *Лабрадор — Гибралтар, начинается пожар... Гибралтар...* — пел Бутусов.

Рядом размахивал руками, причмокивал и хохотал главный гидрогеолог Василий Абрамович Купцов — идейный вдохновитель всего этого, самого лучшего в моей жизни сумасбродства.

«Абрамыч — классный мужик, как мне этого не хватало».

Когда я устраивался на работу в Академию наук, директор института привёл меня к Купцову на собеседование, объяснив вкратце, что коллектив возрастной, нужен молодой энергичный человек в лабораторию гидрохимии и гидрогеологии.

— Поступишь в аспирантуру. Тема перспективная: «Поиски и оценка ресурсов подземных вод в песчаных отложениях». Чистая питьевая вода везде нужна, защитишься, опыта наберёшься, поедешь работать в Индонезию, Африку или в Южную Америку, — директор любил глобальный размах.

— Пьёшь? — это был первый и последний вопрос на собеседовании с Купцовым.

— Не особо, по праздникам, — скромно сказал я.

— Если не пьёшь, не сработаемся.

— Я постараюсь оправдать доверие.

В первый рабочий месяц в Академии я не сидел в библиотеке, не осваивал новые компьютерные программы и даже не рассматривал варианты отелей в Буэнос-Айресе, — ведь нужно где-то остановиться молодому перспективному специалисту. Нет, я шинковал трубы в цехе завода «Красный Авангард», нарезал стальные макароны болгаркой на заданную длину, будущие наши разведочные скважины. Без перчаток, без защиты для лица, искры и окалина летели в глаза, кромсал и складировал в штабеля сотни метров труб. Странно, мне это нравилось, Василию Абрамовичу тоже. Так у него появился безотказный дешёвый работник. Я познакомился с буровыми мастерами Акселем и Кузей, выпил с водителями в автохозяйстве. Хорошие люди. Мы делали настоящее дело. Мужчины были старше меня как минимум на двадцать лет, и

странно, хоть я был такой же член полевого отряда, они слушались меня и уважали. Пока я не говорил в сумерках: «Стоп, затыкай, нанюхались», — мы не заканчивали бурение. Многие шофера мне признавались, что не работали так тяжело за всю свою жизнь. Сейчас я понимаю, что, наверное, был строг, иногда смешно строг, и, может, они хихикали в сторонке надо мной, но мы работали. Я всегда брал в руки самое тяжёлое и кидал на плечи помпу в полцентнера или электростанцию, больше всех труб и штанг, больше всех ходок делал туда и обратно. Я тогда, воспитанный в старой традиции, не понимал, что инстинктивно всё делал правильно. Старики тянулись за мной, они видели во мне отблески справедливого и давно забытого.

— *Лабрадор — Гибралтар, закрывается ангар*, — «Какой ангар? — подумал я. — Песня ничего, а стихи — белиберда... да и ладно... хорошо же?»

— Есть большой остров в Канадском архипелаге, «Лабрадор» называется, — сквозь счастливый хмельной туман, музыку и гул двигателя я расслышал, как Купцов разъясняет мужикам текст песни.

— Чё это, никакой это не остров, а полуостров, — я внезапно вмешался, выныривая из полудрёмы. Обычно я не встречал в разговоры людей старше себя в два раза, но такого издевательства над географией стерпеть не мог.

— А ты откуда знаешь?

— Я всё знаю, это полуостров, — я упрямо продолжил стоять на своём. — Могу поспорить.

— На что? — усмехнулся уверенный в себе Купцов.

— На ящик пива!

Мужики одобрительно загудели.

— *Гибралтар — Лабрадор, — Гибралтар...*

В фургоне кроме богатой коллекции блатняка оказались две случайно забытые кассеты от прошлой экспедиции: первый альбом Земфиры и сборник песен из фильма «Брат 2». Я договорился с буровиками, чтобы всё по-честному: проиграет «Бутырка», потом треки из «Брата», «Лесоповал» сменялся «Ромашками» Земфиры. Для связи с кабиной к передней стенке кунга была прикручена кнопка дверного звонка. Один длинный сигнал означал экстренную остановку — на случай, если кому приспичит по нужде. Пожилой водитель из поволжских немцев Конрад Циммер, мы его звали «дядя Коля», не любил задержек на дороге, поэтому терпели до последнего, до «талого», как выражался бурмастер Антон Кузолайнен, а попросту Кузя.

Когда нам хотелось ещё раз послушать песню, подавали два коротких тренька: «динь, динь», и дядя Коля милостиво включал повтор, правда, не с первого раза, но ставил.

— А у меня сп-и-и-д, и значит, мы умрём! — громко подпевал башкирской девчонке Кузя, прыгая на ухабе, проявляя чудеса ловкости, разливал водку в стаканы, зажатые в крепких руках полевиков. Главный гидрогеолог Купцов, заглывая одним глотком сто граммов, морщился, шлёпал толстыми губами, выдыхал:

— Молодёжь, что вы слушаете, вот раньше песни были, — но сам раскачивался в такт музыке.

Купцов с Кузей отметили недавно свои полста. Целая вечность для меня.

— Значит, Лабрадор это не остров? Как будешь доказывать? — спросил Купцов, уже не так уверенно.

— Докажу, атлас только найду. В ближайшем селе у школы тормознём, там и решим вопрос, — я протянул ладонь, чтобы заключить сделку.

Максим Васюнов

Секта

Рассказ

Слева кипел асфальт, шумел отбойник, справа визжали бензиновые пилы, въевшиеся в кору стареющих тополей. Из-под железных зубьев летели сочные толстые искры. Впереди и за нами гудела пробка автомобилей. Гарь, жара и духота уже часа два как прописались в этом городе, и всё, что теперь могло спасти горожан, — в том числе и нас, сидящих в газели местного телеканала, — это дождь. Но им даже не пахло. В воздухе бродили запахи бензина, асфальта, опилок, пыли, мазута, но только не приближающегося ливня.

В таком аду мы возвращались с какой-то скучной съёмки. Я грустил, разглядывая из окна лысеющие на глазах улицы; думал о том, что нет ничего вечного. И о том, что если бригада рабочих в оранжевых жилетах может за считанные минуты изменить вид из окна, то есть ли вообще какой-то смысл в городских пейзажах?

Когда я уже безнадежно изнемог от жары и философии, в кармане завибрировал толстый мобильник. Звонила новостной продюсер Шурочка.

— Ты где?

— Возвращаемся на базу.

— Пока не надо, тут эти пришли... — и она замылась.

— Кто?

— Сектанты твои.

— Ну так классно же!

— Они тебя требуют. Походу, убить хотят. Не торопись, в общем. Услышал?

И она отключилась.

Вокруг по-прежнему железо выясняло отношение с деревом, а раскалённая лава асфальта пыталась слизать с дороги щебень с песком. Всё шумело и воняло. Если и был шанс посреди всего этого соображать, то только у человека, лишённого зрения, слуха и обоняния. Я же был абсолютно здоров, поэтому в голову лез только зловещий хоррор. Вот я подъезжаю к двухэтажному зданию телекомпании, выхожу из белой газели, уверенно и дерзко иду ко входу, навстречу мне выбегает с автоматом пастор

Максим Васюнов — журналист, автор документальных фильмов, участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Проза и публицистика печатались в журналах «Знамя», «Юность», «Наш современник» и др. Живёт и работает в Калужской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 1.

сектантской церкви. Смеясь — улыбка надрезана, — он выпускает в меня очередь жгучих железяк. Я падаю. Кровь заливает тротуар.

«Бж-ж-ж-ж», — шумит пила, её попытки перерезать горло тополию безуспешны.

«Бж-ж-ж», — вибрирует мобильник.

— Макс, Макс, слушай, они сошли с ума, они взяли нас в осаду! — кричит напуганная Шурочка. — Не приезжай ни в коем случае, они заблокировали все выходы, их много, ждут тебя, слышишь? Не приезжай, шефы с ними пошли разговаривать.

— А ОМОН, ОМОН-то вызвали? Они совсем охренели, дебилы? — кричу я и понимаю, что сейчас переорал даже бензопилу.

— Я не знаю, — уже чуть не плачет Шура, — но у нас никто не может ни войти, ни выйти, а они орут как резаные, тебя требуют, ты пока не приезжай, мы разберёмся, слышишь?

— А Рихтер с ними?

— Он и качает права.

— А Аня?

— Нет, её вроде нет.

— Понял. Спасибо. Звони!

Года за полтора до этого — а может быть, за год — я пришёл работать в городскую телекомпанию. Начал со спортивного корреспондента. У меня быстро стало получаться, и я докатился до криминального репортёра. Со своей программой. Делали её всего двое: самый авторитетный журналист и телеведущий города Лёша (он был мудр, обаятелен и дико интеллектуален) и я — самый наглый. В общем, отличная команда.

Так вот, когда я пришёл, я был влюблён в ведущую новостей, Аню. Но не то чтобы влюблён как парень в девушку. А как в образ, как в идеал. Она когда улыбалась в эфире, зрители-мужчины просто падали: не только потому, что устоять тяжело, но и потому, что зачем вообще жить, если знаешь, что эта женщина твоей не станет никогда.

Меня она приняла хорошо — можно сказать, опекала. Переживала, если у меня что-то по первости не получалось, верила в меня, поддерживала. Я помню, как мне удалось с первого раза написать сюжет — это был репортаж с итоговой пресс-конференции губернатора... Скука смертная, но я решил превратить губернатора в Деда Мороза и все чиновничьи слова заменил на праздничные тосты, а цифры стали подарками. В общем, сделал эротично — у журналистов это синоним слова «весело»... Так вот! Я помню, что когда Аня — она в тот день была ведущей вечернего эфира — прочла этот сюжет, она аж расплакалась от радости за меня!

Однажды я пришёл на работу, поздоровался с коллегами, сказал «привет!» Ане, увидел её ямочки на щеках — настроение моё стало тут же просыпаться.

«Привет!» — ответила Аня. Меня передёрнуло. Голос у неё был хриплым. Я знал, что это не простуда. Так бывает, когда голос срывается после долгого ора.

Настроение снова стало закутываться в тяжёлые одеяла.

— Аня, ты чего? Что случилось? — тогда я был уверен, что Аня поругалась со своим парнем. И скандал, похоже, был жёстким (как я узнал потом — у неё до замужества не было парней вообще).

— Да всё хорошо. Простыла. Посижу вот редактором недельку, — ответила она. И снова эти её ямочки...

Все, кто был в тот момент в редакции, тяжело вздохнули и опустили глаза.

«Простуды» Ани стали повторяться. Было такое ощущение, что она только и делает, что пьёт колодезную воду и ест мороженое тоннами. Или что она специально

срывает голос, чтобы не работать. Но это вообще не про неё — надо ещё отыскать человека, который бы так был влюблён в телевидение и в новости! Ну, только разве наш выпускающий редактор Жанна. Да и — чего греха таить — я.

По своей неопытности и наивности я долго не придавал значения сорванному голосу Ани — даже как-то к этому привык. Мало ли какие проблемы со здоровьем у человека, зачем лезть в душу? Поговорить-то, конечно, хотелось, поддержать, обнять, но где я, начинающий корреспондент, и где любимая всем городом Аня!

В следующий раз меня передёрнуло, когда мы провожали нашего стилиста на другую работу. Аня вдруг сказала ей, что скоро, возможно, они будут работать вместе. А после этих слов заревела.

Все снова заговорщически переглянулись и поникли.

«Какого чёрта, Аня, какого хера, коллеги?!» — чуть не вырвалось у меня. Почему никто не сказал — хотя бы ради шутки: «Никуда мы тебя не отпустим, а как же зрители? Аня, ты что, собралась уходить?»

В тот же вечер я расколол одного из наших коллег. Он сказал, что Аня попала в секту. И попала туда через стилистку, которая сегодня уволилась.

Какая секта? Куда? Почему? И вы все спокойно на это реагируете? Я помню, что пока коллега мне рассказывал, я смотрел на заклёпки, что лежали на его столе, и почему-то ощущал в голове такую боль, как будто эти заклёпки стали поочерёдно вгонять в мою черепную коробку.

Что я знал о сектах? Что мы о них все знаем? Да ничего! Мы только смеёмся над историями типа: звонок в дверь, я в трусах со стояком открываю, а там женщина — божий одуванчик — спрашивает: «А вы верите в Бога?»

Или вот ещё. Эти истории мне рассказывал местный наркоборец, которого чуть не посадили однажды за его пацанские методы реабилитации — приковывал наркомыг наручниками и кормил луком.

— Ко мне стали всё чаще приходиться матери заплаканные. Говорят, мой сын или дочь начали из дома всё таскать: сначала вещи, потом телевизор, теперь даже посуду. Я говорю матерям: «А давно они на наркоте?» А те мне: «Так они не наркоманы».

— В смысле?

— Да в секту они свою носят. Это у них называется «на благословение» или как-то так. Спасите, помогите, сил никаких нет!

Однажды к этому борцу пришла и мама нашей Ани.

С того дня, когда мне рассказали про Аню, секты стали одной из главных тем моих журналистских исследований. В нашем заводском тюремном городе, где все завтракают дымом, а свадебные тосты ботают по фене, сект оказалось штук двенадцать. И это только те, что были зарегистрированы в местной администрации.

Помню, спросил у чиновницы: «Какого вы вообще их регистрируете?»

— А в законе у нас нет слова «секта» — это такие же религиозные организации, как Русская православная церковь.

— Всегда же можно найти лазейку и отказать.

— Что вы от меня хотите?!

Потом выяснилось, что эта чиновница, курирующая религиозную политику в городе, сама была сектанткой.

...Мы уже полчаса стояли в пробке, не двигаясь — пропотели не меньше тех лесорубов, за которыми все от скуки сейчас наблюдали. Эти умники завалили очередной морщинистый тополь со всей его зелёно-седой кроной прямо на дорогу, окончательно перекрыв движение.

Илья Фаликов

Косуля пробежала

Немецкая повесть

ОТ АВТОРА. Этому тексту двадцать лет. По разным причинам он никуда не вышел из моего компа. Надеюсь на любителей истории — мы еще не прожили первую четверть нового столетия, а минувшие годы уже стали историей, у которой есть и будут свидетели и исследователи.

В моем тексте зафиксировано самое начало века, и я, возможно, так бы и назвал свою повесть, кабы такого названия уже не существовало в отечественной словесности. Андрею Белому посоветовала это название Нина Берберова для его огромной мемуарной книги, и там у себя, где я что-то вспоминаю, оба этих автора (по-разному достоверных) незримо присутствуют как маэстро определенного жанра.

Но прекрасных названий много — от «Охранная грамота» до «Алмазный мой венец», не исключая «Другие берега» и «Петербургские зимы», авторов не называю — их все знают, и каждый дает урок.

Впрочем, мой текст, в основе дневниковый, складывался без оглядки на образцы. Весну и лето 2001-го я провел в Германии как стипендиат Фонда Генриха Бёлля (Кёльн). Пребывание в бывшем поместье нобелевского лауреата дополнялось поездками по Европе. Помимо Германии удалось посетить Бельгию, Голландию, Францию — столицы этих стран. Но в журнальном варианте публикации невозможно уместить всех впечатлений.

Заодно, может быть, некоторые читатели полюбостытствуют заглянуть в лабораторию возникновения стихов из живых наблюдений и параллельной им — стихам — прозы.

Деревенские места

Прошелся по шоссе до деревни Гай, мимо деревушки Штрасс. Гай состоит из одной улицы с отростками-улочками, один из этих отростков называется Антониусштрассе, по которому я вернулся на шоссе. В Гае нет ничего примечательного, кроме, может быть, небольшой шестигранной часовни, похожей на амбар, и маленького военного мемориала при дороге, похожего на наши деревенские. Ну и не считая деревянной темно-коричневой автобусной остановки, внутри которой я наконец увидел родную картину: ковер окурков и множество подростковых надписей, включая Sex. Заметил: Natalie + Maks = рисунок сердца. Ау, Наталья¹.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. По образованию филолог. Автор десяти книг лирики, четырех романов, двух сборников эссеистики и книг о Марине Цветаевой, Борисе Слуцком, Евгении Евтушенко и Борисе Рыжем в серии «Жизнь замечательных людей» (их журнальные варианты были опубликованы в «ДН»). Лауреат нескольких литературных премий. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

¹ См.: Наталья Аришина. «Воспоминанья зарифмую» («ДН» № 9, 2021).

Примечание к примечанию: Наталья Аришина — поэт, жена Ильи Фаликова (ред.).

До Гая, как и до Кройцау, 3 км. Шел не спеша, минут сорок, в одну сторону. Сияло солнце, перед глазами распахнулся невероятный ландшафт, состоящий из волнообразных холмов. На многих холмах машут руками ветряные мельницы. На обратном пути меня обогнала высокая девушка-бегунья с пышной попкой. Птица в лесу отчетливо пела *bitte, bitte, bitte*¹. Получалось — Битов. Никогда бы не подумал, что у него такая вежливая фамилия.

Опять заглянул в нашу кирху. В нашу? Ну да. Живу в деревне Лангенбройх. Воскресенье: открыто. Опять никого. Решился присмотреться повнимательней, походил внутри. Алтарное Распятие напомнило мне — прости меня, Господи, — меня: моя комплекция. В руки-ноги Христа вбиты гвозди с очень крупными круглыми шляпками. Перед Распятием — подиум на одноступенчатой высоте, где стоит стол алтаря под белой скатертью, на столе букет красных цветов в вазе и две толстые свечи на цветастых блюдечках с тонко нарисованными на них оленем, петушком, птицей соколиного типа, крестом. Никто ко мне не вышел. В прихожей церкви — столик, на нем стопка молитвенников, внутри которых, кроме текста, есть еще и ноты.

А неделю назад в деревне Куфферат, куда я попал в пеших поисках почты, было так. Почти на самом входе в нее — она расположена ниже Лангенбройха, который стоит на холме, — я заметил девушку за оградой дома, похожего на детсад: там была маленькая шведская стенка, песочница, деревянный конек, и играли несколько детей. У девушки были голые плечи, голый живот и голые ноги. Я позвал ее, она оказалась турчанкой, не иначе, смуглая и черноглазая. Турок в Германии не счесть. Я потряс конвертом, произнес *Post*, она любезно указала пальцем куда-то вбок, я поблагодарил, она улыбнулась. Я пошел вбок, и меня вынесло к маленькому зданию с вывеской *Jugendhalle*, рядом с которым на маленькой спортплощадке одинокий белобрысый пацан лупил футбольным мячом по железной сетке ограды. Я попетлял дальше, почты не нашел, но минут через десять опять вышел на это же место, откуда уже уезжал на велике тот пацан и сказал мне русское *здравствуйте*, я кивнул, ответил и лишь полминуты спустя осознал сей факт. Послышалось? Короче говоря, на спуске очередного круга по деревне, за забором попутного дома я увидел семейство: жену, мужа и пацана. Я спросил о почте. Муж, молодой парень, сидевший в глубине двора, подхватился, вскочил, быстро глянул на мой конверт, где было написано *Russland* (я подтвердил громко: «Руссланд!»), стал тыкать пальцем вбок, активно кивать, я его не понимал, он позвал пацана, и тот вытянутой рукой спокойно указал мне на желтый почтовый ящик, висевший на заборе напротив. Я опустил письмо². Как выяснилось потом, такой ящик есть и у нас в Лангенбройхе.

В конце этой улицы обнаружилась кирха. В проеме церковного фасада стоит довольно большой каменный крест серого цвета с металлической аппликацией: черный крест и надпись с датами *1914—1918* и *1939—1945*. Сбоку на стене церкви три мемориальные доски с 28 именами. Один из павших, по имени Мартин, родился в 1898-м, погиб в 1917-м. Россия начисто не помнит о Первой мировой. Ни единого памятника той эпохи. Не клали людишек в Мазурских болотах. Ничего не было³.

Я пошел назад, мимо «детсада». Турчанки не было.

Я летел в Германию аэрофлотовским рейсом на аэробусе А-10. Это большое судно. Я сидел в хвосте его, потому что мне дали билет для курящих, и пребывал там, в хвосте, весь рейс почти в одиночестве. Курцы приходили и уходили, я оставался. Пассажирам выдали наушники. Я слушал джаз. Слышимость была неважная, но мне никто не мешал слушать то, что я плохо слышал. Это внушало надежду. Так и должно быть дальше.

¹ *Bitte* — пожалуйста (*нем.*).

² Оно почему-то не дошло до адресата.

³ Соответствующие памятники в России появились позже.

В Дюссельдорфе меня встретил Даниил Чкония. Он стал весь из себя пошире, с годами все больше походя на маму, грузинку. Мы по-грузински облобызались легким касанием. Его личный белый микроавтобус именуется Caravelle. Чудесно. Еще чудесней, что на дюссельдорфском летном поле, когда А10 приземлился, первое, что я увидел, был небольшой белый самолет по имени Pegasus. Минут за сорок домчали до кельнского дома Дани. Мы обнялись с Ларисой, прижавшись щеками.

Они уехали в декабре 95-го. Прощальный пир был вечером выборов в Думу. Посидели хорошо, не придавая рокового значения этому отъезду. Я не напился, вернулся домой в своем уме, сел у ящика на предмет слежения за выборами, поставил перед собой какую-то выпивку и тупо смотрел в ящик, где по всей стране разливался красный цвет. На ТВ происходила паника. Красный цвет наступал. К пяти утра все стало ясно. У меня кончилась выпивка. Я пошел за новой порцией на улицу к ночному ларьку. На лестничной площадке между моим четвертым и третьим этажами расположилось прилюдное семейство: немолодая женщина с двумя детьми детсадовского возраста. Они лежали-сидели на каком-то тряпье. Я молча прошел мимо. Дальше ехать было некуда.

Эта фрау Людвиг — фейерверк. О ней мне рассказывал Андрей Волос (он тут жил за год до меня), привет от которого я передал ей, и это было встречено диким воплем восторга. Диким воплем. Я предположил, что восторг вызван личным чувством к Волосу. Нет, она вообще такая. Носится между своим домом и Белль-Хаузом с необычайными сообщениями и без оных, по зову сердца. Она шумит. Шумит она на трех европейских языках, ни одного из которых я не знаю: я говорю на собственном европейском — это гремучая смесь пещерного английского с допещерным немецким, — и поэтому она добавляет кое-что русское или польское. В результате мы понимаем друг друга. Мне стало, например, известно, что ее бабушка была полячка, а она узнала от меня, что мой дедушка был поляк. «О!» В миру она учительница на пенсии, член Социал-демократической партии Германии, партии Вилли Брандта, которой сочувствовал Бёлль. Когда выяснилось, что я не знаю, какое сегодня число и какой день недели, принесла мне два календаря. Она часто восклицает «О!». Порой не известно, по какому поводу раздается это «О!». Она седенькая и маленькая. Как-то прибежала в бигудях и шерстяной кофтенке со следами белой краски, объяснила: она сейчас малярит. Ее возраст неопределим. Где-то за шестьдесят. Часто вижу ее за рулем серой легковушки с испанским именем Ibiza. Гоняет бешено. У нее отменное чувство юмора не без саркастического уклона. Наклеивая на клавиатуру моего (домобёллевского, конечно) компьютера кириллический алфавит, она выслушивала от меня, как звучит каждая буква, зычно повторяла за мной, а букву «х» прокомментировала язвительно: «Хайль Хитлер».

С моим соседом по Дому Бёлля, албанским поэтом из Косова Адемом Гаши, она общается на французском. Мы здесь двое — Адем и я. Выходит, я — Ева. Прошу не отлавливать намеков — со всяческой ориентацией у нас все в норме. Но Лангенбройх — рай. Воздух чист, лес зелен, ходят кони, по ночам поют птички — соловьи.

Бродя по лесу, часто вижу всадниц. В жокейских кепочках, в тугих брючках, в сапожках, с хлыстиком в руке. Кони холеные, ученые, с сияющим крупом и пастернаковским глазом вкось. Всадницы напоминают о своем происхождении от древних лесных алеманок. Дуга времени, исходя из неведомой чащи, летит вдаль, что-то обещая и мне.

Мы с Адемом сидим на скамейке в дюренском скверике, пьем баночное пиво Efes. Светят свечки каштана, поют птички. Адем говорит: «Живи, Генрих Бёлль!» Его здравица связана с тем, как я ответил на его вопрос о том, на что мы там живем



Карен Агамян

ИДИ. 1990 г.
100x90 см. х.м.



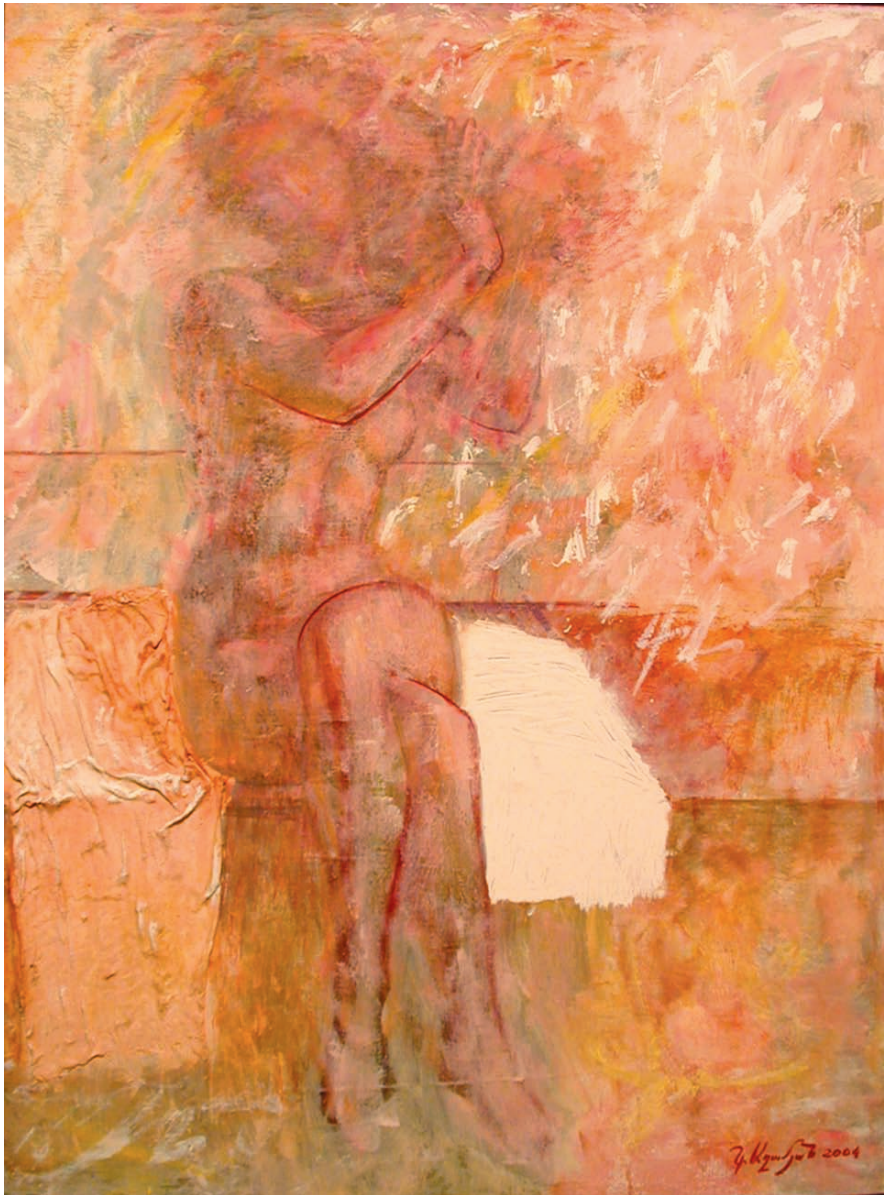
Карен Агамян

Из серии «Олимпийские игры»
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 2007 г.
110x90 см. х.м.



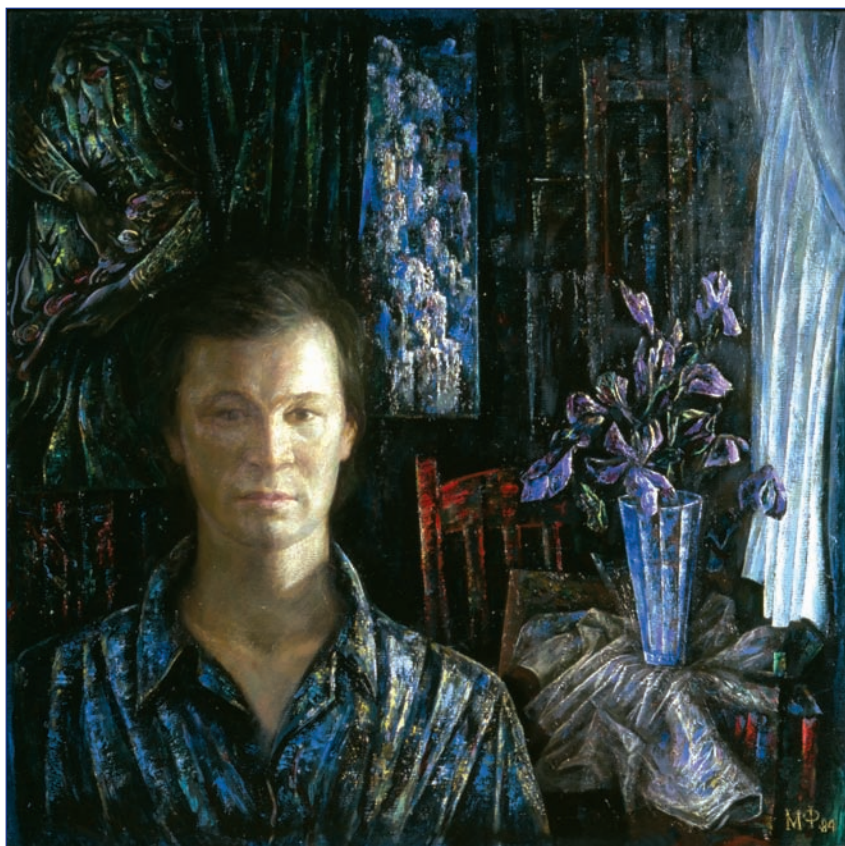
Карен Агамян

ЧЁРНЫЙ КЕНТАВР. 1997 г.
120x100 см. х.м.



Карен Агамян

ПОСЛЕ КУПАНИЯ. 2004 г.
110x84 см. х.м.



Масут Фаткулин

ВЕСНА. АВТОПОРТРЕТ. 1984-2012
холст, масло



Масут Фаткулин

КУВИНСКИЕ ГРАНАТЫ. 1976
холст, масло



Масут Фаткулин

ЗАВТРАК. 1981
холст, масло



Масут Фаткулин

НАТЮРМОРТ С ГРАНАТАМИ. 1983
холст, масло

Юлия Воробьева

Ливан и ливанцы

— Cheri, — сказал муж, вернувшись из клиники, — мы приглашены на свадьбу в следующие выходные, Мохаммад женит старшего сына.

— Замечательно! А что мне надеть?

Конечно, какой еще вопрос можно было задать? Но, подумав, я уточнила:

— Мохаммад? Значит, семья мусульманская? Надо подобрать скромное платье, закрытое. Но лето в самом разгаре... как быть?

— О, как ты заблуждаешься! — расхохотался муж. — Они шииты, ты поразишься, сколько там будет декольте и мини.

Еще муж забыл упомянуть, сколько там будет бриллиантов, золотых украшений, блесков, пайеток, ярких теней и помад, залакированных локонов, дорогих часов и сигар. Жемчужина Средиземноморья, Париж Ближнего Востока — Бейрут, столица Ливана, совсем еще недавно слывший тихой гаванью баснословных капиталов, скрытых в недрах ливанской банковской системы, секретность которой сравнивали со швейцарской. Но богачи Ближнего Востока и Северной Африки едут в Ливан не только ради надежности банковских сейфов. Здесь в доковидные времена устраивали самые улетные вечеринки, где нет разницы, саудовский ты принц или эмиратский шейх, — здесь можно все. В стране, где официально признаны восемнадцать религиозных конфессий, нет строгих дресс-кодов, зато есть комфортные отели, благоустроенные пляжи, отели с огромными бассейнами и ресторанами, специальные свадебные комплексы, где под грохот барабанов заффе и в искрах фейерверков сотни гостей танцуют до утра, поздравляя жениха и невесту, платье которой нередко стоит не меньше бюджета всего свадебного торжества.

Такой Ливан вы увидите на страницах глянцевого журналов, в видеоклипах поп-звезд и на дорожках международных кинофестивалей, актрис и актеров, которых нередко одевают знаменитейшие ливанские модельеры Зухейр Мрад, Эли Сааб и Жорж Хобейка.

Шекспировское «весь мир театр» идеально описывает тот Ливан, который я знаю, живя здесь последние десять лет. Соседка сверху может без зазрения совести сметать мусор со своего балкона ко мне в сад, пока никто не видит, но при встрече в подъезде улыбнется во все свои покрытые сияющими белизной винирами тридцать два зуба, обязательно спросит, как дела, сделает какой-нибудь комплимент и отправится дальше по своим делам, помахивая дизайнерской сумочкой, поблескивая свежим маникюром и позвякивая золотыми браслетами.

Здесь мужчины не меньшие модники и шопоголики, чем, как стереотипно принято считать, женщины. Свежие стрижки и укладки, эпиляция и липосакция,

Юлия Воробьева родилась в Ленинграде, училась в Санкт-Петербурге, живет в Бейруте (Ливан); кандидат филологических наук, переводчик.

пластические операции и брендовые украшения, трендовые наряды и дорогие часы одинаково популярны у представителей обоих полов. Но жизнь в Ливане, ливанский быт никогда не были синонимом легкости и прекрасного *far niente*.

Иногда кажется, что ливанская любовь к роскоши, стремление к красивому отдыху, дорогим нарядам и машинам — своеобразный антидот, спасающий от будничных забот и тягот, в некотором смысле попытка убежать от реальности. Судите сами. Государственные электростанции не в состоянии обеспечить нужды страны в электроэнергии, из-за чего повсюду распространены дублирующие сети частных генераторов, поэтому каждая семья выбирает то, что она может себе позволить — жить только на госэлектричестве, поступающем по часам, например, три часа с утра и два часа вечером, или оплачивать два счета за электроэнергию — государству и частникам, благодаря которым ваш холодильник будет работать круглые сутки, и вы даже сможете запустить стиральную машину. Во время июньско-июльского энергетического кризиса 2021 года (ставшего, конечно, логичным следствием дряхлеющего уже третий год политического и экономического кризиса) в некоторых районах госэлектричество поступало всего на пару часов в сутки, муж проводил не по одному часу в очереди за бензином, а я планировала стирки, пытаюсь угадать, когда и на сколько дадут свет, и выстраивала меню так, чтобы максимально использовать все продукты из холодильника и морозильника, потому что было ощущение, что в любой момент исчерпавшие запасы топлива электростанции и генераторы могут оставить всю страну без электричества.

С водоснабжением похожая история: вода от государства поступает по часам, через день, не во все районы и не всегда в предсказуемом объеме. На крыше любого здания — от старой многоэтажки в Бейруте до белокаменной виллы в уютном горном районе — вы увидите баки для воды, которые наполняют из цистерн, привозящих ее по заказу. «Приятный» повод пообщаться с соседями по дому возникает, когда вдруг выясняется, что в общем баке закончилась вода, но никто не заказал цистерну, и, чтобы принять душ, приходится ждать, пока воду накачают в общий бак, оттуда насос перекачает долю в наш личный бак; а ведь еще хотелось бы эту воду и нагреть. Зимой у нас работает водонагреватель на дизельном топливе, летом солнечный водонагреватель на крыше. Последний хотя бы условно бесплатный — уж солнечно в Ливане почти всегда.

При такой ситуации с электричеством понятно, что готовят еду на газе. Но центрального газоснабжения тоже нет. Поэтому мы, как и все остальные ливанцы, покупаем газовые баллоны. А еще нет и центрального отопления (но этим вас уже не удивить). И хоть зима в Ливане короткая и сравнительно теплая, на побережье становится ветрено и дождливо, многие дома страдают от плесени, а в горах случаются снегопады, оставляющие после себя по четыре-пять метров снега за раз. Поэтому практически в любом ливанском доме вы непременно увидите камин или хотя бы буржуйку. Нередко зимние дни вся семья проводит в единственной на всю квартиру теплой комнате, у печки, укутавшись в теплые пижамы и фланелевые халаты.

Однако ливанцы пошли бы против своей природы, если бы дали этим трудностям восторжествовать. Десятилетиями складывалась и развивалась огромная индустрия сервиса, остававшегося доступным всем слоям населения до последнего кризиса и захлестнувшей Ливан волны инфляции. В Ливане можно заказать доставку на дом чего угодно: от газовых баллонов, бутылей с питьевой водой и цистерн с водой для бытовых нужд до ресторанных обедов и кальянов на любой вкус с дымящимися углями прямо к вечерним посиделкам в саду или на балконе. И пока курс доллара к ливанской лире оставался стабильным (1\$ = 1500 лир), моя свекровь не ходила за продуктами, а звонила зеленщику, мяснику, бакалейщику, и знакомые ей много лет курьеры-сирийцы приносили прямо на порог пакеты с выбранными по телефону товарами, радостно получая небольшие, но регулярные чаевые. В разрушенном 4 августа 2020 года взрывами в бейрутском порту районе Жеммейзе я как-то наблюдала, как пожилая дама с безукоризненной укладкой, с сигаретой во рту спускала с балкона корзину на

веревке. А внизу, у дверей пекарни, мальчик-разносчик придержал корзинку, достал из нее деньги и вынес заказ — упаковку хлебных лепешек и два завернутых в вошеную бумагу круассана. Перекинувшись с мальчиком парой приветственных фраз, дама стала деловито перебирать веревку, поднимая к себе на балкон свежиспеченный завтрак.

Гостеприимство ливанцев, отличный сервис, особенно в ресторанах, пекарнях, отелях, радушие, с которым вас встретят, напоят крепким кофе, конечно, являются отражением восточного представления о том, что гость в доме — король. В домах и квартирах непременно есть гостиная, которой семья, пожалуй, не пользуется в повседневной жизни, иногда ее даже запирают на ключ от маленьких детей, и в которой принимают гостей, усаживая их на мягкие диваны, показывая сувениры, привезенные из путешествий, ставя поближе к каждому маленькие столики, чтобы не пришлось далеко тянуться за орешками, морковными и огуречными палочками в лимонном соке (их вам подадут и в любом кафе и ресторане вместе с россыпью чипсов в качестве закуски к алкогольным напиткам).

В ресторанах, кстати, подавляющее большинство персонала мужчины, нередко в возрасте, и я всякий раз со смесью восторга и страха наблюдаю, как они лавируют между столиками, держа над головой огромный поднос с десятком блюд и успевая на ходу поднести кому-то зажигалку, улыбнуться досужему наблюдателю вроде меня и дать указания младшему официанту. К слову, самой большой популярностью пользуются у ливанцев рестораны именно ливанской кухни, особенно если речь идет о выходе в люди всей семьей в субботу или воскресенье. Тогда можно увидеть, как накрываются длинные столы на двадцать-тридцать человек, ведь — независимо от вероисповедания — здесь редко встретишь семью с одним ребенком, а трое или четверо детей совсем обычное дело, по крайней мере так было до нынешнего кризиса. Представьте себе семейный ресторанчик под ветвями шелковичных деревьев. Прохладный горный ветер, ледяная вода в стаканах, на площадке носится стайка детей, пока два, а то и три поколения семьи оживленно беседуют, подкладывая друг другу хумус и ароматный салат табуле из петрушки и помидоров, заворачивая в лепешки с сыром овощи, зелень и кебабы и затягиваясь ароматным кальяном. За детьми, возможно, следит домработница и по совместительству няня из Эфиопии или с Филиппин. Но и в отсутствие помощниц молодая мама с малышом может насладиться кофе и десертом, потому что в Ливане обожают детей, и всегда найдется официант или официантка, которые с радостью возьмут вашего кроху на руки и поразвлекут его, пока вы едите, пьете кофе или кальян. Да, я не оговорила, по-арабски говорят не «курить кальян», а «пить», хотя процесс ничем, конечно, не отличается от обычного.

Вообще, жизнь ливанца и есть такой баланс бытовых трудностей и довольно простых радостей: заказать цистерну воды домой и напиться холодной воды в жаркий день, достать дров и дизтоплива на зиму для камина и системы отопления и поиграть в пятницу вечером в карты на балконе, да так, чтобы соседи на пять домов в округе слышали гневные споры и победные кличи, в очередной раз напомнить клиенту об оплате и, получив деньги, вывезти семью и пожилых родителей на выходные в горы, или на прибрежный курорт, или в ресторан.

Кто-то скажет, примитивно. А где же чтение, походы в музеи, на концерты? Музеем для ливанцев служит их родная земля, как бы пафосно это ни звучало: разнообразие природных условий и огромное количество разбросанных по стране финикийских, древнеегипетских и древнеримских памятников, христианских и мусульманских святынь, множество гастрономических и музыкальных фестивалей делают наиболее популярным видом отдыха поездки по стране: в горные заповедники ливанских кедров над Эхденом, в Шуфе и Эхмеже, к ущелью с трехуровневым водопадом в Баатаре, на фестиваль вин и морепродуктов в прибрежный Батрун, в замок крестоносцев в самом древнем из непрерывно существующих городов Библосе, в древние города Тир (ныне Сур) и Сидон (Сайда), в Кану, где Христос совершил чудо превращения воды в вино, на горнолыжные курорты Фарайи и Заарура, в пещеру

Владимир Торчилин

«Если будет жизнь, то будет и поэзия»

О встречах и разговорах с Наумом Коржавиным

Для начала несколько слов о том, как эти заметки появились. В 1978 году я готовился к своей первой поездке в США в рамках сотрудничества и научного обмена в области медицины. Должен я был ехать на пару месяцев в одну из лабораторий гарвардской медицинской школы в Бостоне. Естественно, зашел попрощаться к своему литературному гуру Бенедикту Михайловичу Сарнову, который принимал большое участие в моих литературных начинаниях и которому я очень многим обязан. И когда Бен узнал, что я еду именно в Бостон, он спросил меня, не могу ли я передать письма от него и еще нескольких друзей Науму Коржавину, который после эмиграции осел как раз в Бостоне. Я, естественно, согласился: и Бену хотелось приятное сделать, и личное знакомство с Наумом Коржавиным представлялось более чем заманчивым.

Стихи его я хорошо знал, и даже видел его самого, и слышал его чтение на нескольких поэтических вечерах до его отъезда. Одно из таких выступлений в рамках ежегодного Дня поэзии, если не ошибаюсь за давностью лет, имело место в Книжной лавке писателей на Кузнецком, где мы были вместе с моим другом (к большому сожалению, ныне покойным) Лёней Филановским, московским поэтом и авиационным инженером (он еще встретится в рассказе о Коржавине). Лёня потом описал свое (и, как оказалось, наше общее) впечатление об этой встрече. Лучше я сказать не смогу, поэтому процитирую Лёню: «Маленький магазин был заполнен до отказа. Стоявшие на улице тянули шеи, стараясь увидеть и услышать, что происходит внутри. Внутри магазина был тот же "день поэзии". За прилавком, ближе к окну, стоял невысокий, очень плотный человек в очках, с всклокоченными волосами и в расстегнутом китайском светлом плаще. Он был без галстука, и воротничок рубашки скомканным углом торчал из-под пиджака. Рядом с ним на прилавке стоял толстый неуклюжий портфель, лежали листочки. Он читал стихи. Мне хочется верить, будто я сам догадался, что это Коржавин, а не кто-то подсказал мне это. Что мы знали тогда о нем? Все то, что было напечатано Эренбургом, и все, что было опубликовано в "Тарусских страницах". Что я видел? Немолодого, по моим тогдашним понятиям, человека; такой

Владимир Торчилин родился в 1946 году в Москве, окончил химический факультет МГУ. Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, живет в Бостоне, работает директором Центра наномедицины в Северовосточном университете, США. Прозаик, автор книг: «Странные рассказы» (М., 1995), «Повезло» (США, 1997), «Время между» (М., 2000), «Кружок друзей Автандила» (М., 2006), «Лабух» (М., 2012), «Дом на Маросейке» (М., 2016), «Поговорим о странностях любви» (М., 2018) и многих журнальных публикаций.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

же плащ, как у меня, мой был даже лучше, я его покрасил в черный цвет и скрыл многие изъяны. Проще — я видел обыденного человека. А вот что я ощущал? Ощущал я постыдное чувство. Ощущал его первый раз в жизни. Это было чувство жгучей зависти, зависти к этому человеку. И мне вдобавок еще казалось, что всем-всем вокруг было видно, что я завидую Коржавину. И еще я четко помню, помню дословно, о чем я тогда подумал: "Вот опубликовать хотя бы два таких стихотворения — и можно умирать". Я понимал, что это так же нереально, как побывать на иной планете или прыгнуть с самолета без парашюта и не разбиться. Никогда не завидовал никому ни до, ни после этого».

Так что нетрудно догадаться, с какой радостью я пообещал выполнить просьбу Бена и передать письма, которых оказалась довольно толстая пачка. В Бостоне я сразу начал обживаться в гостинице и в лаборатории, но про письма, естественно, помнил. Сначала я хотел позвонить по данному мне телефону из своего номера, но выяснилось, что даже местный звонок из гостиницы стоит некоторых денег, которые выдавались командированным весьма скудно. Точнее, местные платили нам как положено, но большую часть полученной в Штатах зарплаты мы обязаны были под угрозой репрессий привозить обратно в Союз и сдавать в родное министерство. Так что пришлось звонить из лаборатории. Трубку снял сам Коржавин. Я объяснил ему, кто я, передал привет от Бена и выразил готовность принести письма. Коржавин сказал, чтобы я немедленно приезжал к нему домой, но я объяснил свои две проблемы: во-первых, я днем работаю, а во-вторых, я только-только в Бостоне и не знаю ни города, ни транспорта, ни даже как этим транспортом пользоваться. Тогда он предложил встретиться после моей работы у станции метро, которая близко от моей лаборатории и на той именно ветке, которая проходит мимо его дома. Я сказал, что он узнает меня по усам (тогда еще черным), а я его визуально помню. Так и порешили. И часов, по-моему, в пять вечера я уже топтался у выхода из метро. Естественно, когда он появился, я его сразу узнал, но одновременно и понял, как я был неправ, забоявшись ехать к нему и заставив его приехать в центр города. Я, конечно, знал, что он плохо видит, но тут понял, что он *едва видит*, поскольку он шел очень неуверенно и проверял дорогу именно такой тросточкой, с какой ходят слепые. Я подошел и заговорил, поняв, что моих усов он все равно не увидит.

Сначала я хотел просто передать письма и распрощаться, но Коржавин решительно потребовал, чтобы я ехал с ним к нему домой поговорить. Я, естественно, поехал. Дома, представив меня Любе, он даже не дал мне толком с ней поздороваться, а немедленно потребовал полного отчета о своих московских друзьях. Быстро разобравшись, что я не слишком осведомлен о них и могу рассказать только то, что говорил мне Бен Сарнов, он переключился на вопросы о московской жизни вообще. В конце концов мы все-таки попили приготовленного Любой чая за кухонным столом, заставленным тысячько пузырьков с разными лекарствами, витаминами и добавками (Люба к этому относилась очень серьезно), потом опять сидели в комнате Наума, тоже заставленной-заваленной, но теперь уже книгами, и отпустил он меня только поздно вечером, взяв твердое обещание приехать к нему опять завтра или в крайнем случае послезавтра. Так все и началось.

Как честный человек я приехал к нему через день, потом опять, и эти визиты с разговорами повторялись два-три вечера в неделю все время моего пребывания в Бостоне. Думаю, не потому, что ему было так уж со мной интересно (по крайней мере, тогда), а потому, что ему страшно не хватало живых людей из Союза, которые могли рассказывать о «сегодняшней» тамошней атмосфере, хотя о многом из происходившего там он был осведомлен даже лучше, чем я — так внимательно он смотрел (насколько мог) и слушал всевозможные русские программы радио и телевидения.

Наша совместная с американцами работа шла успешно, а потому (и еще, естественно, потому, что никакой негативной информации о моем житье в Штатах

в компетентные органы не поступало и все положенные деньги я сдавал в министерство вовремя и до копейки) продолжение сотрудничества получило одобрение властей, и каждый год в моей лаборатории стали появляться американские коллеги, а я и мои ребята ездили работать к ним. И поскольку в нашей теме Бостон был основным местом, то в каждый свой приезд я проводил столько вечеров (и выходных, хотя по уикендам мы тоже нередко торчали в лаборатории), сколько мог, у Коржавиных. Выяснилось, что мы можем разговаривать часами и, вроде бы, обоим это не надоедало (мне-то уж точно). Так продолжалось добрых лет десять. Так что, когда я переехал в Штаты и окончательно осел в Бостоне, мы уже встречались как добрые знакомые и не в течение двух-трех месяцев в году, а круглый год (а перезванивались и говорили по целому часу практически ежедневно), и эта традиция постоянного общения не прерывалась двадцать пять лет. Должен здесь заметить, что, несмотря на долгое общение и тесные дружеские отношения, я дистанцию соблюдал всегда и, в отличие от многих окружающих, по-свойски называвших Коржавина на ты и Эмкой, всегда был с ним на вы и называл его или Наумом Моисеевичем или, в крайнем случае, просто Наумом.

Коржавины были и нашими первыми гостями в первой снятой нами в Бостоне квартире. Я не могу сказать, как часто они ходили в гости, но к нам — или они оба, или только Наум — приходили всегда, когда мы их приглашали, а приглашали мы их часто. И даже выходили с ними в свет — поужинать в каком-нибудь ресторане, чаще всего китайском, поскольку Наум китайскую еду любил. Пару раз в год мы совершали такие походы вместе с Сашей (его уже нет с нами) и Эллой Горловыми — близкими друзьями Коржавина с давних времен и тоже бостонцами.

Я не льщу себе мыслью, будто я такой, мол, незаурядный индивид, что стал коржавинским конфиденнтом. Ему просто не хватало аудитории. Он чувствовал себя как в клетке. И каждый, кто был хоть немного настроен на ту же волну, что он сам, становился ему нужен. По-видимому, наши волны совпадали чуть больше среднего, вот мне и повезло с интенсивностью нашего общения. Может быть, и не очень заслуженно... Но уж, что было...

* * *

В хронологическом порядке выстроить эти записки у меня все равно не получится, поскольку одни и те же темы всплывали в наших разговорах в течение многих лет, так что лучше именно тематически и излагать. И начать хочу даже не со своих воспоминаний. Или, точнее, не совсем со своих, поскольку я сегодня единственный владелец писем, в которых эти воспоминания приводятся, а самого автора уже с нами нет. Кстати, эти письма отчасти объясняют, как и когда я стал делать заметки о своих беседах с Коржавиным. Объясняю.

Весной 1995 года Коржавин собирался в Москву. И хотя там друзей у него было много, и опекали его, насколько я знаю, со всем возможным тщанием, он спросил, нет ли у меня надежного друга, который мог бы сопровождать его в походах по книжным магазинам и редакциям. Я сразу подумал о Лёне Филановском, которого уже упоминал в начале своего рассказа. Снабдил их взаимно телефонами и с того момента был абсолютно уверен, что все визиты в книжные и в редакции пройдут на высшем уровне. И тут я хочу привести несколько отрывков из писем, которые Лёня писал мне в Бостон. Тех, где он говорит о своем общении с Коржавиным.

Май 1995-го: «Я еще раз встречался с Коржавиным перед его отъездом. Он — благороднейший человек. Старое, редко употребляемое слово. Но в данном случае очень точное.

— С каким сердцем вы уезжаете, Наум Моисеевич?

— И приезжал с тяжелым, и уезжаю с тяжелым.

Вот так вот. Грустно все это».

Ольга Балла

И валеночки сваляю

Время вышло. Современная русская антиутопия: рассказы. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. — 280 с.;

Мои девяностые. Пестрая книга / Сост. Л. Аркус. — СПб.: Сеанс, 2021. — 344 с.: ил.

Когда на стол вашего покорного обозревателя лег сборник, посвященный различным вариантам антиутопического представления о будущем, а вскоре вслед за ним — книга о том, как сегодня вспоминаются 1990-е годы, стало ясно, что в некоторых существенных чертах они сопоставимы. Ну хотя бы в том, что обе книги — коллективные высказывания, и в каждой сошлись, разглядывая один и тот же (труднообозримый, неисчерпаемый) предмет, люди совершенно разных — до несовместимости — взглядов и разных поколений.

Но это не все: несмотря на взгляды, позиции и поколения, в своих представлениях как о будущем, так и о прошлом авторы обеих книг обнаруживают редкостное единодушие.

Таким образом, стало ясно и то, что речь должна идти не об образах будущего или прошлого как таковых. Эти образы — две стороны одного и того же: сегодняшнего чувства истории и ситуации человека в ней. А чувство это — катастрофическое. И сборник воспоминаний о девяностых наводит на эти мысли еще куда более антиутопического.

В книге, собранной Любовью Аркус, — частью из текстов, написанных самими участниками разговора (в том числе и не для этого сборника, как эссе Александра Гольдштейна, умершего в 2006-м), частью из интервью, проведенных составительницей, — три сезона памяти, три стадии ее созревания, соответствующие трем разным историческим состояниям: собственно девяностые, нулевые и двадцатые.

Хотя перед нами не исследование, а собрание принципиально частных мнений, картина складывается полная (ну, приближающаяся к таковой) и объемная. Диапазон представленных точек зрения и позиций — от либералов-западников до леваков-экстремистов. От Дмитрия Пригова и Льва Рубинштейна до Виктора Топорова и Эдуарда Лимонова, от Дмитрия Галковского и Дмитрия Быкова до Марии Степановой и Екатерины Шульман. Выборка — репрезентативнее почти некуда.

При понятном разбросе впечатлений практически все сходится на восприятии последнего десятилетия XX века как не просто трудного, но разбивающего стереотипы, происходящего совершенно помимо сложившихся ожиданий — и не принесшего надежных и общезначимых результатов. Да, было то страшно, то захватывающе, чаще — страшно и захватывающе вместе, но — главное — от всего этого, кажется, не осталось плодов, на которые можно было бы опираться сегодня. Как-то больше похоже на то, что девяностые склонны вспоминаться как время не столько обретений, сколько разочарований и утрат, и не столько созидания, сколько разрушения.

И это чувство, кажется, с нарастанием дистанции между нами и девяностыми не слишком меняется — скорее, уточняется.

Люди девяностых — Дмитрий Пригов, Александр Гольдштейн, Людмила Петрушевская... — говорят о своем времени как об эпохе нежданного, не очень понятного, едва ли не чудесного освобождения («Жизнь победила, — говорит Пригов, — никому не известным способом»), не слишком ясного понимания того, как им распорядиться (Пригов же: «Художники вдруг стремительно разбогатели и в этих новых обстоятельствах вели себя несколько глуповато»). Изысканнейший стилист Александр Гольдштейн (покинувший в те годы бывший Советский Союз, — и девяностые для него действительно стали временем новых возможностей, только в другой стране: в Израиле) вспоминает воздух этого времени как «темнеющий», а разговор о нем начинается со страшной резни армян в Баку, которая вообще-то случилась еще в конце восьмидесятых (и накрепко срослась с образом девяностых). Одним из главных чувств обсуждаемого десятилетия он видит дезориентированность: «Отваливались целые пласты старого опыта, еще негде было найти им замену».

Лев Рубинштейн, вспоминая девяностые из нулевых, не без удивления говорит, что в это «веселое и страшное» время, при, казалось бы, буме всяческой новизны («все было — бум») ни в художественной жизни, ни в философской мысли не возникло ничего примечательного. «...Все идеи, которые тогда были в ходу, родом еще из 1970-х — может быть, самого плодотворного и самого неизученного десятилетия во второй половине века». Просто в девяностые «пробку вынули». Но сами девяностые ничего существенного не создали. Те, кто владел тогда умами, были вообще «вне культуры», главным жанром словесности стала журналистика (с ее поверхностностью и ситуативностью). Атмосферу этого времени характеризовали, считает он, неразъемлемые «надежды, страх, стремительность, дураковатость, двусмысленность».

О девяностых сказано тут много честного, жесткого, точного. Но вот удивительно: почти никто из сошедшихся в разговоре заочных собеседников не вспомнил эту переходную эпоху действительно добрым, благодарным словом. Пожалуй, только Мария Степанова говорит о ней как о времени если и не больших возможностей (с большими невозможностями, как мы знаем, тогда тоже все было хорошо), то — роста, расширения мира, обострения зрения — именно общекультурного. «Весь мир был новый, моя Москва со страшной скоростью расширялась, появлялись какие-то новые закоулки, открывались и сразу же закрывались кафе, в Киноцентре показывали Годара. "Вдруг стало видимо далеко во все концы света", — было ощущение абсолютной сияющей транспарентности, все было достижимо и под рукой». Конечно, видение этого, накладываясь на простую биологическую молодость, во многом и определяется ею.

Но такую точку зрения разделяют не все даже из тех, кто был тогда совсем молодым. «Те годы казались замкнутым куском времени и пространства, чем-то вроде острова, откуда совершенно необходимо было сбежать, но совершенно непонятно как», — пишет Полина Барскова, которой в 1991-м было пятнадцать. Сама Степанова, которой в том году было девятнадцать, и на девяностые пришелся период ее интенсивного личного и творческого становления, говорит, что для нее происходившее тогда не имело привкуса катастрофы — просто потому, что все воспринималось как должное, а начинающаяся взрослая жизнь захватывала как небывалое приключение. Но это относится именно к личному опыту и сопровождалось, признает Степанова, естественным в своей слепоте юношеским эгоцентризмом; в целом же девяностые как общий опыт она теперь оценивает жестко. «А то, что эта трансформация, внезапная перемена участи, была так или иначе навязана всем, от младенцев до стариков, кто находился тогда в постсоветском пространстве, меня не задевало, — меня не хватало на то, чтобы это себе представить». (Некоторым исключением может быть назван разве что Эдуард Лимонов, вспоминающий в эссе под названием «СМРТ», как круто

было тогда присутствовать в разных местах боевых действий, — его ожидания в этом смысле, кажется, не только оправдались, но и были превзойдены. Но это трудно назвать расширением горизонтов и усложнением понимания мира.) Людмила Петрушевская с безусловной благодарностью вспоминает «Незабываемый 1991-й», означавший прекращение самой возможности советских преследований, но это относится именно к начальному году десятилетия.

Вообще, стоит обратить внимание на то, что 1991-й вспоминается как-то отдельно от последовавших за ним девяностых. Это как будто разные темы. Девяносто первый был пережит скорее мифологически: «вот эти три дня <...> и дальше полная окончательная победа добра», как сказала Мария Степанова. Но потом такое чувство уже не повторялось.

Кстати, это можно заметить и в репликах участников круглого стола, проведенного «Дружбой народов» в декабре прошлого года, в дни тридцатилетнего юбилея конца советской эпохи¹. Участники его вспоминали 1991 год — в основном август, как перелом чувствовался именно он, хотя советская власть после того продолжалась еще почти четыре месяца — и то, что случилось потом. Так сказать, психологические девяностые — не совсем совпадающие с календарными. Там тоже складывается впечатление, что 1991-й и девяностые — две совсем разные материи. Правда, бывает и так, что мифологически-освобождающий 1991-й остается практически незамеченным. И более того: чем моложе респондент, тем более он оправдывает и принимает советский опыт. (Ну, это как раз понятно: чем менее он лично прожит, тем больше и домысливается.)

Так, совсем не вспоминает 1991-й Валерий Айрапетян, бывший в девяностые ребенком — и ребенком же заставший ту самую армянскую резню в Баку, которую вспоминает и Гольдштейн в книге Аркус. Эта катастрофа, заставившая его семью «оставить дом и в спешном порядке спастись из пекла разгорающегося межнационального конфликта» и слившаяся в памяти в одно событие со страшным спитакским землетрясением 1988-го, означала для него начало девяностых: они начались для него не с освобождения, а с беды, и это определило характер памяти о них. Утрата Союза для него — катастрофа. Елена Крюкова, тридцатипятилетней испытывавшая при виде сокрушения памятника Дзержинскому на Лубянке утрату «чувства защищенности», вспоминает девяностые, с одной стороны, как «тяжелейшие», с другой — как «прекраснейшие», но только потому, что в это время им с мужем удалось найти собственный образ жизни, минимально зависимый от социума: «мы освободились от... От чего? От технологий приспособления. От соблазна наживы. Да много от чего; мы живем так, будто в запасе вечность. Радостно живем». Дмитрий Шеваров, которому в 1991-м было двадцать девять, оценивает начавшиеся тогда перемены как «распад, развал и разложение» и вообще полагает, что в том году «крушили <...> социализм с человеческим лицом», а вместе с ним — «человечность как таковую». Его почти-ровесница Елена Долгопят двадцативосьмилетней в один из тех судьбоносных дней «с родителями <...> ездила к Белому дому. Видели танки. Было не страшно. Было странно. Постояли на площади, послушали Ельцина. Вернулись домой. В электричке (туда и обратно) мне казалось, что людям нет дела до происходящих событий, все заняты своей обыденной, будничной жизнью». О девяностых не говорит ничего, кроме: «Хочется сказать: все прах. Так и говорю».

О девяностых жалеет, и то отчасти, Олеся Николаева, вспоминающая их почему-то как время «расцвета толстых литературных журналов», хотя расцвет пришелся на времена более ранние — на перестройку, а в девяностые они уже едва

¹ См. *90-е и сегодня: прошлое в настоящем*. В заочном круглом столе участвуют Валерий Айрапетян, Александр Григоренко, Елена Долгопят, Денис Драгунский, Илья Кочергин, Елена Крюкова, Олеся Николаева, Алексей Торк, Дмитрий Шеваров («ДН», 2021, №12).

выживали. Вообще же она говорит, что ее «надежды и чаянья начала 90-х потерпели полнейший крах».

Складывается впечатление, что — по общему, распространенному чувству, совершенно независимому от пристрастий и ценностных позиций его носителей, — с девяностыми мы не справились. Мы все. И это — именно на уровне общекультурного чувства — подорвало наше доверие к истории и к самим себе в ней. Разрушило его нашими собственными руками.

Настолько, что утопия (предполагающая как-никак веру в будущее) стала чуть ли не органически невозможной, антиутопия же, напротив, — чуть ли не тождественной образу будущего как таковому.

Вопору, кажется, говорить о соблазне антиутопизма. О наваждении его.

Что же касается антиутопий, то понятно, что ничего хорошего они обещать и не должны, — но что же именно они обещают? В каких направлениях развивается и движется (если она вообще куда-то развивается и движется) антиутопическая мысль наших современников — и далеко ли она в этом движении зашла?

Скажем сразу: на удивление недалеко. Можно даже утверждать, что она никуда и не уходила.

И дело даже не в том, насколько далеко от наших дней авторы располагают воображаемое будущее (даты указаны не всегда, но если да, то они совсем близко — мировая война в рассказе Андрея Рубанова разражается в 2033-м, то есть она куда ближе к нам, чем ныне осмысляемые девяностые, а главный герой того же рассказа, которому предстоит совершить нечто эпохальное, вообще родился в 2006-м и теперь живет среди нас, вот уже школу заканчивает). Дело в том, что, в какой бы точке временной оси это будущее ни располагалось, между ним и нами авторы не предполагают никакой дистанции вообще.

Есть, кажется, основания говорить об устойчивых антиутопических топосах, определяющих футурологическое воображение наших современников. Среди предпочтений антиутопической мысли с огромным отрывом от всего остального преобладают диктатура, тирания и репрессии. Александр Пелевин так прямо и пишет: «В середине XXI века на земле воцарилась ужасная тирания» и вообще «Земля превратилась в огромный концлагерь». У Дениса Драгунского Новая Честная Власть, свергнув Антинародный режим, немедленно вешает всех, на ком была кровь борцов с режимом, «бескровных» противников отправляет в лагерь, а прочий чуждый элемент — в ссылку, предварительно конфисковав все имущество. У Алисы Ганиевой «Министерство благополучия» предписывает изображать счастье в государственных социальных сетях, а «нарушители цифровой картины благополучия страны выселяются куда подальше <...> без права возвращения». А тирании сопутствует (или существует помимо нее, но родственная ей, переходящая в нее, заменяющая ее) и избыточная, превосходящая то, что мнится нам разумными пределами, регламентация жизни, — неважно ради чего («Иногда неважно, что запрещать, — резонно комментирует это герой рассказа Садулаева. — Важен сам факт запрета»). В мире Александра Пелевина запрещено, среди многого прочего, есть эклеры и быть похожим на Стравинского. У Германа Садулаева запрещены «Телеграм» и чтение произведений советского писателя Самохина (что немедленно порождает не просто влечение к этим текстам, но формирование на этом основании тайных организаций). Вполне тиранические черты имеет и мир Эдуарда Веркина с его доведенным до некоторых крайних следствий социальным расслоением; у Вадима Панова над миром с помощью высочайших технологий властвуют диктаторы, объявившие себя богами. В рассказе Александра Снегирева тирания с регламентацией торжествуют в пределах отдельно взятой семьи, от чего не менее тошно.

Навязчивому представлению о диктатуре существенно уступает даже мысль о гибели человечества в ядерной катастрофе (которую устраивает секта самохинцев

в рассказе Садулаева). Особняком среди тревожных ожиданий стоит неведомая болезнь, встречающаяся только у Сергея Шаргунова в рассказе «Двадцать два» (это — возраст героя, уже преклонный): «сам вирус не был смертелен, проходил как легкая простуда», но «ускорил механизм старения»: отныне «умирали до тридцати, успевая за это время жениться, родить детей, состариться». Кстати, это еще не самый антиутопичный вариант. Ну да, культура стала существенно проще и грубее, а цивилизация — ненадежнее: «Летали самолеты, ходили поезда, работали рестораны, но реже, реже... Упростилась грамматика, обнищала речь, зато освежился сленг <...> На улицах ежечасно грабили, справляли нужду, делали любовь, зато не было пробок. Местами шла злая резня, но атомного взрыва пока удавалось избежать». Но жить с этим, как видим, человечество вполне научилось.

И что принципиально: никаких существенных трансформаций в человеке, в его психике и мировосприятии не происходит: ни в одном из антиутопических вариантов. Везде все тот же человек — просто втиснутый в более узкие и жесткие рамки.

Это мы уже должны отнести к — пронизывающей весь сборник, общей всем авторам, независимо от их взглядов и ценностей, — антропологической интуиции: человек абсолютно ко всему адаптируется. Использует обстоятельства любой степени чудовищности, чтобы устроить подходящую ему, удобную для него жизнь.

(Ну, то есть: есть какой-то уровень в человеке, до которого эти обстоятельства со степенями их чудовищности не достают. Внешне — искажают, разрушают, да, — но до ядра не дотягиваются.)

И более тривиальное, но тоже всем общее: никакая сложность технологий не то что не спасает от дикости и варварства, но, будучи способной стать игральным злом, как раз с легкостью к ним и приводит.

Да и вообще, разве это будущее? Скорее (слишком) легко узнаваемое настоящее, такое родное, обжитое, со множеством безошибочных примет. Ну, просто к нему поднесено увеличительное стеклышко. Совсем небольшое.

Но вот ведь удивительно: надежду на выход за пределы катастрофического умонастроения дает как раз антиутопический сборник.

В нем есть исключения из антиутопического ряда — возможно, не замеченные составителями в качестве таковых, но нельзя исключать и того, что помещены они туда не без тайного умысла. Один из них — открывающий сборник рассказ Андрея Рубанова. Из антиутопичного в мире, который смоделировал автор, — одна только «трехсекундная» война между искусственными интеллектами разных стран, в которой гибнут все участники. Правда, исключительно электронные.

«Мировая война разразилась в пасхальную ночь 2033 года и длилась 2,849 секунды, завершившись одновременной капитуляцией всех армий и суицидом всех основных мировых искусственных интеллектов <...> Одновременно с самоликвидацией искусственных интеллектов по их приказу были уничтожены все электронные базы данных воевавших армий, все программное обеспечение, вся телеметрия, вся переписка, вся статистика, все оцифрованные архивы; оказались до дна стерты все банковские счета военнослужащих — от рядовых до маршалов и главнокомандующих, а также все корреспондирующие счета. То же самое коснулось планетарного военно-промышленного комплекса: он просто перестал существовать. Все заводы, производившие военную продукцию, обанкротились мгновенно, вся инженерная документация исчезла».

Господи, да это уже сама утопия. О таком только мечтать можно.

Тем еще более, что мир после этого на удивление стремительно («менее десяти лет понадобилось...») вернулся к технологически сложной жизни — настолько, что и деньги (опять же электронные) стали мыслящими. Более того — мыслить они стали умом хорошего человека (рано умершей любимой жены их изобретателя), а вместе

с этим умом обрели «веселый и жизнелюбивый характер». Ну, это утопия совсем (а читатель-то уж ждал рифмы «розы», то есть тоталитарных ужасов).

Второе исключение из общего порядка — рассказ Александра Иличевского. (Кстати, роль требуемой антиутопии в нем с блеском выполняют вспоминаемые героем ранние девяностые в Санкт-Петербурге — лишь по странной причуде истории очутившиеся не в приличествующем жанру будущем, а в недавнем прошлом.) Герой там сдает свой мозг в аренду «некоторой вычислительной корпорации», и та с этим мозгом, вшив в него «программный чип», не очень ведомо что делает (самому герою это тоже не слишком ясно). Однако из этого интересного и плодотворного фантастического допущения в рассказе (как и в романе «Исландия», по которому этот мотив нам уже знаком) не следует ничего систематического, никакой внятно выстроенной картины мира — и, в частности, никаких антиутопических следствий. (Приметы некоторого чрезвычайного, возможно, военного состояния мелькают на периферии повествования: «Самолеты опять не летали, города ошетинились кордонами...», — чтобы так ни во что и не развернуться). Вообще же в этом рассказе, который скорее — большое стихотворение в прозе, торжествует горячая чувственная жизнь — и только она одна: «Как травы солнечны и терпко маслянисты, развешаны вдоль косяков и рам, горячий ставень их хранит со снами и яблоками, рассыпанными по столу».

Летают ли самолеты, ошетинились ли кордонами города — а жизнь жительствоует вопреки всему.

Я, то есть, думаю что-то вроде того, что составители антологии современного антиутопического сознания имели умысел приоткрыть дверцу, позволяющую из этого сознания выйти. И даже наметили направление, в котором можно было бы при этом двигаться. А уж если пытаться сформулировать, что это могло бы быть за направление, — формулировки напрашиваются и вовсе пафосные. Но преодолеть смущение и отважиться на них стоит: это — вера в человека. В того самого, не изменяемого никакими антиутопическими обстоятельствами.

Верное ее свидетельство — самый, пожалуй, удушливо-беспросветный, заключительный рассказ сборника: «Яхта из чистого золота» Дениса Драгунского. Новая Честная Власть, восторжествовав, лишает своих предполагаемых противников и культуры, и цивилизации — вплоть до отключения электричества, загнанный в резервации чуждый элемент дичает и звереет, но вопреки всему, чему только можно, в их мире существует любовь. Чистая, самоценная. Не нуждающаяся ни в культуре с цивилизацией, ни даже — как видно из рассказа — в самой физической возможности своего осуществления.

Лишенному всех мыслимых жизненных перспектив герою влюбленная в него женщина — совершенно темная, выросшая далеко за пределами цивилизации с культурой — в минуту жизни трудную говорит: «Не скучай! Я тебе носочки из козьей шерсти свяжу. Тепленько будет. Обними меня, поцелуй меня, погладь меня, мой красивый. И валеночки сваляю, и одеялко стеганое сошью...»

Разве что благодаря таким рукотворным валеночкам и спасемся.

Summary

Prose

Introducing a piece from his novel *Without the Right to Postponement*“ Sergej Dmitrenko notices: The events of the past are reproduced in the present, predetermining the future but the philosophy of the warriors is constant in time and space“. These words may define the prose of this issue: a person, his/her contiguity with the war, his/her attitude to it and existence in it. Vladimir Lidskij, Timur Maksjutov, Sophja Orlova, Alexander Rybin, Roman Senchin, Alex Tarn Each of them has his/her own war, his/her own experience. And his/her own word.

Poetry

Meditations and recollections, details of being at the background of the history of the country fulfill the poems of Sergej Popov. The poetical cycle of Vera Zubareva “*Leaden dreams*” is about “the world on the edge”. Lyrics of Inga Kuznetzova are about the happiness of the late love and the sharp turns of a thrilling life.

Vladimir Torchilin. About Gatherings and Talks with Naum Korzhavin

People need Pushkin even if they don't realise it at some moment. Will be the life – will be the poetry. But somehow I doubt that the life will be“ V.Torchilin is publishing the records of his conversations with Naum Korzhavin and his memoirs about him.

Илья Falikov. A Roe Deer Has Run By

The “german” long short story of I. Falikov is based on the diaries he was keeping in 2001 in the writers' residency – the former estate of Heinrich Böll near Köln. “We, caught up by the whirl of today's events, still have to understand: before we lived out the first quarter of the new century the past years have already become History”.

Julia Vorobjeva. Lebanon and Lebanese

Today in the focus of the rubric “Nations and the World” which often looks at the world with the eyes of our compatriots living in various countries is Lebanon, its history and nowadays, its people, their customs, predilections and concerns.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Игорь Моисеев. Повесть «Остров Глазовка»:

«Глазовка — это деревня. Как многие другие в Беларуси, такая же... но местные могут и поспорить, и я их понимаю. Да, всё, вроде, как у других, но это как посмотреть... Вот взять хотя бы название. Ничего особенного. Потенциала, чтобы взорвать мозг, как, например, у Дофаренции (под Минском), Габитации (около Будслава), либо Тюрли (возле Молодечно; вот что за тюрли такие, спрашивается?), скажем честно, нет. Или поставить в тупик тайной происхождения названия, как у деревень (напомним, белорусских) Париж, Антонисберг, Байкал, Монголия, Кавказ, Сахалин, Палестина. Для ночлега больше подойдёт деревня Храпаки на Витебщине или, там, Заперинье, Семигостичи, Пирогги либо Наливки. Мило и агротуристично, не то что в Берёзовском районе Кабаки, Бухали и Рыгали. Шалаевка вот на Могилёвщине (нехорошо так о женщинах, куда как лучше в Мостовском районе — Голубы). Скажем прямо — грубо, недопустимо, господа хорошие, вон Пропойск переименовали в Славгород, так совсем другое дело (ведь могут же). Так и хочется спросить: «Доколь?» — а это название деревни на Могилёвщине. Настораживает большое количество деревень с названием Козлы...»

